

Б. Мейлах

**ПУШКИН
И ЕГО ЭПОХА**



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958**

**ПУШКИН
И ДЕКАБРИСТЫ
В СПОРАХ
О НАЦИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЕ**



Дело тайного общества бросило яркий свет на истинные нужды страны и на прогрессивное развитие культуры.

Декабрист М. Лунин.



Глава первая

ЛИНИИ БОРЬБЫ

Мировоззрение Пушкина формировалось в обстановке ожесточенных споров вокруг проблем, связанных с развитием русской национальной культуры.

Острая полемика по вопросам просвещения, литературы, искусства представляла собой характерную особенность общественной жизни первой четверти XIX века. Полемика велась не только в журналах, в литературных обществах и кружках, но и в частных домах, проникала в дружескую переписку. О боевом характере полемики свидетельствует уже сама терминология, которая мелькает в разговорах, в статьях, в стихах на эти темы.

Летите на врагов: и Феб и Музы с вами!

Разите варваров кровавыми стихами, —

восклидал Пушкин, призывая своих единомышленников обличать «спесивых риторов безграмотный собор», «зоилов», проповедников «тьмы». «Теперь страшная война на Парнасе», — констатировал Жуковский. «Две партии находятся всегда в своего рода войне, — кажется, что видишь дух мрака в схватке с гением света», — так охарактеризовал один из членов «Зеленой лампы», А. Д. Улыбышев, столкновения различных лагерей общественной мысли¹.

Эта борьба была связана с громадным поворотом в истории России, с перспективой ликвидации феодальных порядков, возникшей перед страной уже не как отвлеченная мечта, а как необходимость, диктуемая

процессами действительности. Углубились противоречия в экономическом строе, появились новые силы, способные к борьбе за практическое переустройство общества, усилилась и борьба идей. Начало поворота от старой России к России новой сопровождалось коренными изменениями в культуре. Своеобразие политической борьбы в стране, придавленной абсолютизмом, в стране, где цензура не только пресекала всякие проявления свободомыслия, но и стремилась проникать в «ухищрения пишущих», обусловило ярко политическую насыщенность споров, даже по частным, второстепенным вопросам культурного развития.

Уже в XVIII веке виднейшие представители русской общественной мысли и литературы, подвергая критике многие стороны культуры феодально-крепостнической российской империи, начали борьбу за национальные основы передовой культуры, за ее подъем. В эпоху Пушкина и декабристов, когда наступление на феодально-крепостнический уклад впервые в истории России приняло характер организованного революционного движения, непримиримость «старого» и «нового» в вопросах культуры приобрела небывалую ранее остроту. Возникли дотоле неизвестные сложные проблемы. Деятели декабристской России, продолжая славные традиции своих предшественников, прежде всего Радищева, борьбу за развитие национальной культуры соединяли с критикой абсолютизма и крепостничества, с пропагандой освободительных идей.

В этой связи возникает интереснейшая задача изучения роли и позиций Пушкина в борьбе за русскую национальную культуру.

Позиции Пушкина по отношению к русской национальной культуре и культуре мировой грубо искажались еще при его жизни. Реакционные националисты отказывали Пушкину даже в праве называться русским поэтом. Об этом сам он с горечью говорил:

Бывало, что ни напишу,
Все для других не русским пахнет...

Эти «другие» считали, что критика Пушкиным императорской России, которая, как мы знаем, была воодушевлена горячим чувством патриотизма, означала пренебрежение своей страной. Любовь и уважение поэта

к лучшим представителям зарубежной литературы они объявляли «слепой приверженностью иноземному». Таким людям Пушкин ответил стихотворением «Краев чужих неопытный любитель», по своим мотивам напоминающее и грибоедовское «Горе от ума», и «Гражданина» Рылеева, и лермонтовскую «Думу». Представители же лагеря, которые чуждались всего русского и предпочитали своему чужое только потому, что оно чужое, третировали Пушкина как раз за то, что в его творчестве отражена специфика родной страны, черты национального характера, проникновенная любовь к русской природе, русским песням.

И впоследствии различные литературные фальсификаторы продолжали искажать облик Пушкина, его позиции. Одни стремились объявить его сторонником национальной исключительности, оторвать от развития мировой культуры. Другие, наоборот, не замечая, что вся деятельность Пушкина явилась ответом на коренные вопросы русской жизни и порождена ею, рассматривали ее как результат иноземных влияний. Были и попытки отрицания патриотизма Пушкина; при этом соответственно истолковывались его негодующие слова о «свинском Петербурге», слова «черт догадал меня родиться в России с умом и талантом», сказанные в минуту отчаяния. Но при этом утаивались другие его признания, например, что он ни за что на свете не хотел бы переменить отечество (письмо П. Я. Чаадаеву, 1836). Были и другие неверные истолкования пушкинских позиций. Не способствовали пониманию подлинных позиций Пушкина, а лишь запутывали вопрос и апологеты теории «единого потока», которые пытались «ликвидировать» не только противоречия в мировоззрении Пушкина, но и вообще выровнять извилистый фронт борьбы различных общественно-политических лагерей пушкинской эпохи в единую линию приверженцев патриотизма и народности.

Воссоздание картины борьбы за судьбы национальной культуры в ее подлинности и позиций Пушкина важно не только для характеристики его деятельности, но и для верного понимания исторической сущности той борьбы «двух культур», о которых писал Ленин, культуры эксплуататорских классов и культуры, отражающей интересы и чаяния народа.

Еще современники Пушкина сознавали, что значение его деятельности выходит далеко за пределы собственно литературного развития. У декабристов мы встречаем характеристики Пушкина как крупнейшего выразителя духовных сил народа, основоположника передовой национальной культуры, выразителя специфики русской нации, чьи творения обозначили совершенно новый этап ее истории. «На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают», — писал Рылеев Пушкину в 1825 году, за месяц до восстания².

Революционные демократы при всех противоречиях в оценке идейных позиций Пушкина тем не менее характеризовали его деятельность в широком общекультурном плане. Добролюбов считал Пушкина «одним из вождей ее (России. — Б. М.) просвещения», а Чернышевский утверждал: «В истории русской образованности Пушкин занимает такое же место, как и в истории русской поэзии». Но только в наше время, когда проделана большая работа по изучению Пушкина и его эпохи, общее значение поэта как виднейшего деятеля национальной культуры раскрывается во всей полноте. Исследованию этого вопроса способствует и преодоление нашей наукой пережитков реакционной историографии, утверждавшей, что Пушкин был пассивным художником, жрецом «чистого искусства», далеким от идейно-политических боев. Теперь все более отчетливо вырисовывается облик Пушкина как страстного борца за свои идеи, отстаивавшего их в труднейших условиях духовного закрепощения страны³.

История национальных культур во всех странах мира связана с общим историческим процессом ликвидации феодализма, начало которому было положено французской буржуазной революцией 1789 года. Это, по определению В. И. Ленина, «эпоха буржуазно-демократических движений вообще, буржуазно-национальных в частности, эпоха быстрой ломки переживших себя феодально-абсолютистских учреждений»⁴. В новую всемирно-историческую эпоху центральными вопросами становления национальной культуры во всех странах были вопросы о ее исторических традициях и современных задачах, о критериях национальной самобытности и народности, о взаимоотношениях с культурой других народов, о путях развития литературного языка. Такие же вопросы вставали и перед деятелями русской культуры, но

решались они в соответствии с специфическими условиями русской жизни. Вокруг этих вопросов и шла борьба. В чем была ее сущность? Как соотносились позиции Пушкина с позициями не только враждебного ему лагеря, но и тех современников, которых он считал близкими себе? В чем своеобразие точки зрения Пушкина, в какой мере были оправданы его расхождения по некоторым вопросам с декабристами? Все это важно не только для изучения многосторонней деятельности Пушкина, но и для понимания его эпохи.

Живое участие Пушкина в спорах вокруг вопросов развития русской национальной культуры началось очень рано, еще в годы его формирования как поэта. В дальнейшем его позиция становилась все более активной, не только сливаясь по своему идейному содержанию с борьбой декабристов против всего реакционного и обветшалого, но во многом опережая свое время. Для того чтобы разобраться во всей сложности происходивших тогда споров и определить в них позиции Пушкина, необходимо обратиться к характеристике наиболее существенных этапов борьбы «старого» и «нового».



Глава вторая

«ГУБИТЕЛИ РОССИЙСКОГО СЛОВА»

27 марта 1816 года Пушкин писал П. А. Вяземскому из Царского Села: «...время нашего выпуска приближается; остался год еще... Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную Академию и Беседу *губителей* Российского слова». Так Пушкин с присущим ему остроумием именовал «Беседу *любителей* русского слова».

В письме Пушкина отразилось его нетерпение живее, активнее включиться в литературную борьбу, участником которой он уже был. Борьба с «беседчиками» проходит через все творчество Пушкина 10 годов. Все значение этой борьбы становится очевидно, если учесть литературно-политическую платформу «беседчиков».

Деятельность «Беседы любителей русского слова» и Шишкова рассматривалась чаще всего в связи с дискуссией о языке. Эта сторона вопроса обстоятельно освещена в истории литературы и истории русского литературного языка. Между тем «Беседа любителей русского слова» не была только литературной организацией: фактически она представляла собою политический блок правых элементов дворянства из непосредственного окружения царя. Именно потому (а не в силу только споров о стилистических тонкостях) полемика с «Беседой» обозначила целую полосу в истории русской общественной мысли и литературы.

Естественно, что для понимания борьбы за развитие национальной культуры существенна позиция «Беседы» и Шишкова в целом.

«Беседа» была создана в 1811 году для пропаганды реакционно-охранительных идей. Программная речь ее организатора и руководителя Шишкова была построена с явным учетом этой основной задачи. О литературе он говорил с точки зрения политической: «Подвигнутые монаршими деяниями, мы стремились вслед воле его и не способностями нашими, но духом его оживотворяемые течем по гласу его трудиться, сколько можем, над тем первоначальным учением, на котором всякое другое учение основывается и создается, то есть над языком и словесностью». Восхваление монархической власти проходит через все книжки «Чтений Беседы». В первом же номере были помещены дифирамбические стихи царю, из которых следовало, что без него и жизни нет на земле:

Но где же солнце теплотою,
Где, на каких берегах Скамандр
Пред нашей хвалится Невою,
Коль наше солнце Александр?!

Взгляды Шишкова простирались до такой беспредельной реакционности, что он в начале века возглавлял оппозицию Александру I... справа. Либеральные обещания, которые Александр давал на первых порах своего царствования и особенно его обещания реформ, — все это Шишков расценил как отступление от коренных основ «российских установлений».

Характерно, например, следующее высказывание Шишкова по поводу либеральных фраз Александра I: «Несчастное в государе предубеждение против крепостного в России права... внушено в него было находившимся при нем французом (швейцарцем. — Б. М.) Лагарпом и другими... воспитанниками французов». «Молодые наперсники Александровы, — вспоминал Шишков об этом времени, — напыщенные самолюбием, не имея ни опытности, ни познаний, стали все прежние в России постановления, законы и обряды порицать, называя устарелыми, невежественными. Имена вольности и равенства, приемлемые в превратном и уродливом смысле, начали твердить перед младым царем... С того времени отстал я от двора, уклонился от всех его козней». Но как

только Шишков убедился, что «либерализм» царя — это пустая болтовня, он вновь возвратился к активной политической деятельности, для того чтобы официальную политику направить «к надлежащей цели», о которой Шишков заявил еще в 1807 году, до организации «Беседы». Это, разумеется, столь любезная Шишкову верность к «прежним в России постановлениям, законам и обрядам»².

Задачи, которые ставил себе Шишков при организации публичных литературных «чтений», были, следовательно, куда шире, чем казалось современникам. Именно поэтому выступления Шишкова против карамзинской реформы языка подчинялись прежде всего требованиям общей политической тактики, выработке которой были посвящены узкие совещания, предшествовавшие организации «Беседы». Об этом с полной определенностью свидетельствуют дневники Жихарева. Из них мы узнаем, что на первом же таком совещании в доме Шишкова только Державин решился прервать затянувшиеся политические разговоры и напомнил, «что пора бы приступить к делу» (то есть к литературному чтению). О другом совещании Жихарев записал: «Вчерашний вечер у И. С. Захарова не похож был на вечер литературный. Кого не было! Сенаторы, обер-прокуроры, камергеры и даже сам главнокомандующий С. К. Вязьмитинов». Литературная часть вечера была скучной и неинтересной. «Читали стихи какого-то Куклина... на случай избрания адмирала Мордвинова... в губернские начальники московской милиции. Стихи очень плохи». Далее Захаров читал переводы писем Фенелона о благочестии. «Слушая эти письма, гости дремали». «Сановные гости», в том числе Вязьмитинов, во время чтения удалились, и остались только те, «которым хотелось или ужинать, или читать стихи свои». Наконец на этом же собрании Жихарев читал стихи «К деревне», которые, по его собственному признанию, «не заключают в себе ничего, кроме одного набора слов...» «Много разговаривали прежде о политике, об отъезде государя, о Сперанском...» Наконец Жихарев окончательно убедился, что литературные интересы в этих собраниях на последнем плане: «В замену плохих стихов наслушался я умных речей и вдоволь насмотрелся на многих почтенных людей»³.

Частные собрания эти постепенно все более принимают характер организованного литературного объединения. Из литературного содружества Шишковым, наконец, образуется «высочайше утвержденная» «Беседа любителей русского слова».

По справедливому замечанию Вигеля, «Беседа» была организована таким образом, что «имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держались более табели о рангах, чем о талантах»⁴.

Приведенный в первой книжке «Чтений Беседы любителей русского слова» список «особ, составляющих «Беседу», начинается с перечисления попечителей, которыми состояли крупнейшие сановники: гр. П. В. Завадовский, министр просвещения А. К. Разумовский, адмирал Н. С. Мордвинов и министр юстиции, поэт И. И. Дмитриев. Беседа была разделена на четыре разряда, председателями которых состояли Шишков, Державин, А. С. Хвостов и Захаров. Затем шли действительные члены, члены-сотрудники и почетные члены. Среди них: Шишков, Державин, А. С. и Д. И. Хвостовы, Захаров, адъютант Александра I Кикин, Дмитриевский, Карабанов, Вельяминов, Писарев. Большое внимание уделялось внешней стороне заседаний «Беседы», происходивших в специально приспособленной для этого зале квартиры Державина в весьма торжественной, почти церемониальной обстановке. 14 марта 1811 года состоялось первое торжественное заседание «Беседы» с участием гостей⁵.

Члены «Беседы» по своим литературным интересам представляли различные направления. Если не считать группы творчески бесплодных и бездарных литераторов, придерживавшихся канонов классицизма, можно с уверенностью утверждать, что единой собственно литературной платформы у членов «Беседы» не было. Ее не могли создать, разумеется, такие ничтожные стихотворцы, как А. П. Бунина и А. А. Волкова, которые «творили» по рецептам старых «пиитиков», или Ф. Львов, писавший стишки о «цветке» и «ручье» в стиле эпигонов карамзинской школы. В «Беседе» состояли люди, совершенно различные по своим литературным вкусам — Ширинский-Шихматов и Галинковский, Капнист и Марин, Николаев и Шаховской, Жихарев и Соколов. Бывал на

чтениях «Беседы» и Крылов, басни которого служили главной приманкой для публики: его, как и Державина (в то время уже совсем одряхлевшего), сумели убедить в том, что эти «литературные собрания» принесут «огромную пользу русской словесности». Но, будучи членом «Беседы», Крылов в своих баснях «Парнас» и «Демьянова уха» зло высмеял «Беседу» и Российскую академию, которая также была оплотом литераторов-староверов⁶.

Глава «Беседы» Шишков, стремясь направить всю ее деятельность против передовой национальной культуры, однако хитроумно маскировал свои действительные убеждения. Враждебно встречая каждое проявление творческой, новаторской мысли, всякие стремления порвать путы феодализма и крепостничества, он заполнял все свои писания внешне патриотической фразеологией. Главная идея программного «Рассуждения о любви к отечеству» Шишкова — необходимость сохранения «устоев». Любовь к отечеству Шишков определял не как сознательное, а как врожденное, физиологическое чувство, по аналогии с любовью зверей и птиц к месту своего рождения или с любовью, «какую природа вложила в один пол к другому». Без каких-либо колебаний он утверждал, что любовь к отечеству должна быть «пристрастной», «слепой». Слепота необходима для того, чтобы не видеть в существующем порядке никаких недостатков и не подвергать его никакому анализу. Анализ может якобы охладить любовь к отечеству, точно так же как он охлаждает любовь между мужчиной и женщиной: «Ум начнет рассуждать, сердце холодеть, и вскоре человек сей, ни с кем прежде не сравненный, делается для нас не один на свете, но равен со всеми, а потом и хуже других. Так точно отечество». «Слепота», которую проповедовал Шишков, была на деле проповедью полного запрета критики существовавшего строя, апологией феодальной неподвижности и застоя. Всякое сравнение государственной системы стран Запада и самодержавно-крепостнической системы России Шишков рассматривал как измену православному царю и вере. Взгляды Шишкова выразились здесь с такой прямолинейностью, что даже граф Д. И. Хвостов, к «вольнодумству» уж ничуть не причастный, записал об этой речи в дневнике: «Члены «Беседы» были без памяти, но, право, речь худа... Местами писано сильно и недурно, но вообще

могла годиться при царе Михаиле Романове, а не потомкам его. Оттого один просвещенный муж (Ив. Ив. Дмитриев) сказал шутку, хваля ее: хотя бы митрополиту». Шишков был вскоре после этой речи назначен государственным секретарем, а с началом войны Александр поручил ему составление манифестов. Шишков явился творцом того «слога» манифестов, которым царизм пользовался для маскировки своих действительных намерений и для обмана народа. В своих манифестах он демагогически использовал понятие национальной гордости ⁷.

Национальными чертами русского характера Шишков считал приверженность царю и любовь к помещикам. Свободолюбие же народа, его ненависть к поработителям Шишков обличал как выражение якобы чужеземных влияний. Отвергая иноземную культуру, Шишков в то же время охотно использовал в ней то, что могло послужить на пользу реакции. Не случайно с взглядами Шишкова на национальный характер совпадали взгляды реакционера Жозефа де Местра и душиателя русской культуры Бенкендорфа. Не случайно также, что Шишков, метавший громы и молнии против французской революции и ее идеологов, всемерно пропагандировал в России произведения Франсуа Лагарпа, который после победы контрреволюции во Франции стал реакционнейшим публицистом.

Лицемерно-двойственным оказывался Шишков и в своей литературной деятельности. Он всемерно поносил великих французских просветителей и вообще передовую культуру Запада и одновременно подражал в своем литературном творчестве самым обветшалым французским и немецким писателям.

В свете всего этого становится ясно, почему Пушкин с такой яростью обличал Шишкова и его сподвижников как реакционеров, врагов русского просвещения, противников «ума»:

Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов *
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

В программном стихотворении «К Жуковскому» 1816 года (оно должно было открывать намечавшийся сборник стихотворений Пушкина), поэт противопоставляет два лагеря. В одном лагере враги «возвышенных творцов», «варягов строй», «враги наук»:

Те слогом Никона печатают поэмы,
Одни славянских од громады громоздят,
Другие в бешеных трагедиях хрипят...

В другом лагере истинные патриоты, проповедники просвещения, те,

Кто смело просвистал шутливою сатирой,
Кто выражается правдивым языком...

И далее у Пушкина следует призыв восстать на «дерзостных друзей «непросвещенья», разить варваров «крававыми стихами».

В других стихах Пушкина высмеиваются Рифматов (Шихматов), Графов (граф Хвостов), Бибрус (Бобров), дается собирательный образ «беседчиков» с их «напевом бессмысленных стихов», «трехстопным вздором». О «беседчиках» иронически говорится в стихотворении «К другу стихотворцу» (1814), в послании «К Галичу» (1815) обличается

...угрюмый рифмотвор,
Повитый мраком и крапивой,
Холодных од творец ретивый...

Этот поэт,

На скучный лад сплетая вздор,
Зовет обедать генерала...

Верноподданнический характер деятельности подобных поэтов, официозность их творчества осознавались Пушкиным. В стихотворении «Князю А. М. Горчакову» (1814) вновь сатирически изображен поэт «придворный философ», который

Вельможе знатному с поклоном
Подносит оду в двести строф...

Как бы в противовес облику такого поэта-«беседчика», «угрюмого рифмотвора», человека холодного и напыщенного, требующего соблюдения «светского кодекса»,

Пушкин выдвигал в эти годы иной облик поэта, свободного, независимого, равнодушного к «почестям» и чинам. Только «чернь» (чернь светская) не ведаёт

...что дружно можно жить
С Киферой, с портиком и с книгой и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

Мы видели, что именно отсутствие «ума» Пушкин отмечал в своих сатирических нападках на «беседчиков». Необходимо учесть, что мотивы наслаждения жизнью, юношеского разгуля, прославления пиров — все это носило у Пушкина характер демонстративный, все это было ему необходимо для того, чтобы противопоставить себя и своих друзей сонму «угрюмых певцов». Именно в этом идейный смысл тех лирических стихотворений юного Пушкина, которые буржуазно-дворянское пушкиноведение трактовало лишь как эпикурейские.

Уже в эти годы Пушкин в своих произведениях высмеивает ложный патриотизм Шишкова и его приверженцев. Он чутко уловил суть псевдопатриотической трескотни «беседчиков», за которой скрывалось полное равнодушие и неприязнь ко всему действительно национальному, мнимую народность «славянороссов». В рукописи стихотворения «К Батюшкову» Пушкин с презрением и насмешкой говорит о том, как

...неуклюжий славянин,
Изменник ревностных дружин,
Варяжски песни *затекает **
Теперь на дудочке простой
И слогом древности седой
В деревню братьев приглашает...

Именно такая «народность», сочетаемая с призывом к нравам «древности седой», и воспевалась в стихах «губителей русского слова» — от самого Шишкова до его сподвижников вроде Буниной или Львова.

* «Варяжские песни», в словоупотреблении Пушкина, — это песни не русские, песни людей, умаляющих достоинство русского народа. Ср. в «Видении на берегах Леты» Батюшкова:

Слова их хоть немного жестки,
Но истинно варяго-росски⁸.

** Подчеркнуто мною. — Б. М.

Понятно, почему в главном из своих произведений, направленном против «беседчиков», — сатирической поэме «Тень Фонвизина» (1815) Пушкин делает именно Фонвизина, виднейшего деятеля передовой русской литературы XVIII века, судьей реакционных «славянороссов».

Прежде чем перейти непосредственно к литературной теме, Пушкин говорит о том, что и после Фонвизина порядки в России не изменились:

Всё так же люди лицемерят,
Всё те же песенки поют.
Клеветникам как прежде верят,
Как прежде все дела текут;
В окошки миллионы скачут,
Казну все крадут у царя,
Иным житье, другие плачут

.....
Спокойно спят архиереи,
Вельможи, знатные злодеи,
Смеясь, в бокалы льют вино,
Невинных жалобе не внемлют,
Играют ночь, в сенате дремлют,
Склонясь на красное сукно..

Убедившись в отсутствии перемен, Фонвизин восклицает:

Но где же братья-поэты...

Далее начинается смотр поэтов: здесь Кропов — А. Ф. Кропотов, издатель реакционного журнала «Демокрит», граф Хвостов, князь Шальной — сентиментальный Шаликов, орошающий свои стихи «нежною слезой»; за ними следует «славяноросс надутый» — Шихматов; Шишков, «попами воскормленный»; затем Державин, который на старости стал переключивать стихами Библию. Все они жестоко осуждаются Фонвизиним.

Неоднократно отмечалось, что в «Тени Фонвизина» сказалось некоторое влияние другого произведения, также направленного против шишковистов, — «Видения на берегах Леты». Это верно, но важно подчеркнуть, что у Батюшкова судьей поэтов является царь Минос, у Пушкина же поэма переведена из условно-мифологического в сугубо бытовой план. Осуждение «варяжских поэтов» русским писателем Фонвизиним имело принципиальное значение. Не случайно и то, что в пушкинской поэме с большим уважением упоминается «славный Ломоносов», поэт, наследие которого пытались присвоить себе шишковисты.

Стремление шишковистов сделать Ломоносова своим союзником настолько возмущало Пушкина, что он вернулся к этому вопросу много лет спустя. В одном из замечаний, сделанных поэтом в 30-х годах, он ясно показал, что шишковская трактовка творчества Ломоносова представляла собою извращение позиций или же тенденциозное использование слабых сторон поэзии великого представителя русской культуры XVIII века. «Знаю, — писал Пушкин, — что *Рассуждение о Старом и Новом Слоге* (Шишкова. — Б. М.) так же походит на *«Слово <о пользе книг церковных в российском языке>»* (Ломоносова. — Б. М.) — как псалом Шатрова на *«Размышления о вели<честве> божьем»*.

В рассуждениях Шишкова о языке кое-что могло, казалось бы, соответствовать позициям сторонников передовой русской национальной культуры. Так, он объявлял себя борцом с «галломанией» в русском языке. Еще в «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (1803) он писал: «Всяк, кто любит российскую словесность и хотя несколько упражнялся в оной, не будучи заражен неисцелимою и лишающею всякого рассудка страстию к французскому языку, тот, развернув большую часть нынешних наших книг, с сожалением увидит, какой странный и чуждый понятию и слуху нашему слог господствует в оных». В позднейших высказываниях Пушкина получила свое завершение критика вредных увлечений языком французского аристократического салона во вред языку русскому, его самостоятельному развитию. «Я не люблю видеть в первобытном (то есть самобытном. — Б. М.) нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности», — писал Пушкин, имея в виду язык салона и в то же время отзываясь с большой похвалой о французском литературном языке как «языке мыслей».

Одной из причин, замедливших «ход нашей словесности», поэт считал «общее употребление французского языка и пренебрежение русского». Критика Шишковым изысканности и манерности языка карамзинского также, казалось бы, имеет точки соприкосновения с взглядами зрелого Пушкина. В особой главе «Рассуждения» Шишков приводит образцы витиеватого и манерного стиля карамзинистов и заменяет их более простыми выражениями (например, вместо: «когда путешествие сделалось потреб-

ностью души моей» — «когда я любил путешествовать» и т. п.). Пушкин также высмеивал писателей, которые вместо того чтобы сказать: «Это молодая хорошая актриса» — говорили: «Сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Аполлоном» и т. д. Но за этими внешними совпадениями у Пушкина и Шишкова скрывались непримиримые противоречия. С одной стороны, основоположник русского литературного языка, созданного на основе синтеза живой, разговорной речи народа и языка письменности, а с другой — защитник церковнославянского языка⁹.

Еще будучи в Лицее, Пушкин с большой проницательностью определил, что «славянорусский» язык, который защищал Шишков, и русский язык в его современном понятии — вещи принципиально различные. Эта точка зрения Пушкина отразилась и в строках одного из его стихотворений 1816 года:

Блажен, кто с добрыми друзьями
Сидит до ночи за столом
И над *славянскими* глупцами
Смеется *русскими* стихами...*

Критика Шишковым галломании и слезливого сентиментализма в литературе не достигала цели вследствие ее консервативной направленности. Он отрывал книжный язык от разговорного, деля при этом книжный язык на «простой», «средний» и «высокий» слог и прикрепляя к каждому из этих слогов определенный литературный жанр. Все это тянуло литературу назад, противоречило исторически назревшей задаче создания единого национального литературного языка, являлось выражением наиболее реакционной идеологии.

Отсюда и выпады Шишкова против введения в русский язык каких бы то ни было новых слов (как, например, эпоха, энтузиазм, катастрофа, развитие и т. д.).

Сущность обвинений Шишкова по адресу приверженцев «нового слога» была достаточно прозрачной. «Научные» доводы в пользу сохранения церковнославянского языка были тесно связаны с основной мыслью «Рассуждения» о необходимости сохранить в неприкосновенности весь строй старых идеологических понятий. В одном

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

месте «Рассуждения» мысль эта высказана со всей откровенностью: «...с одной стороны, в язык наш вводятся нелепые новости, а с другой — истребляются и забываются издревле принятые и многими веками утвержденные понятия». Следовательно, против новых слов Шишков возражал потому, что они выражали новое, враждебное феодально-крепостническому режиму содержание. «По мнению нынешних писателей, — утверждал он, — великое было бы невежество, нашед в сочиняемых ими книгах слово «переворот», не догадаться, что оно значит *révolution*». В другом месте Шишков прямо раскрывает свои позиции. К слову «революция» он сделал следующее примечание: «Слава тебе, русский язык, что не имеешь ты равнозначщего сему слова. Да не будет оно никогда в тебе известно, и даже на чужом языке не иначе, как омерзительно и гнусно». Основную политическую устремленность этих высказываний Шишкова Пушкин полностью понял позднее. В заметках по поводу «Слова о полку Игореве» он писал: «Сочинителю «Рассуждения о старом и новом слоге» было бы неприятно видеть, что и во время сочинителя «Слова о полку Игореве» предпочитали былины своего времени старым словесам»¹⁰.

Наиболее четкую характеристику полной несостоятельности взглядов Шишкова на русский язык мы находим у Пушкина в 30-е годы, когда он писал: «Убедились ли мы, что славенский язык не есть язык русский и что мы не можем смешивать их своенравно, что если многие слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных книг, то из сего еще не следует, чтобы мы могли писать: *да лобжет мя лобзанием* вместо *целуй меня* etc». Но еще в начале 20-х годов Пушкин записал старинную пословицу: «Иже не ври же, его же не пригоже» и заметил по этому поводу: «Насмешка над книжным языком: видно, и в старину острились насчет славянизмов». Пушкин высмеивал и тупое стремление Шишкова выбросить из русского языка все слова иностранного происхождения, заменить, например, слово «кий» словом шаротык или слово «тротуар» — топталищем. В письме брату (1824) он иронически писал по поводу Шишкова. «Не запретил ли он *Бахчисарайского фонтана* из уважения к святыне Академического словаря и неблажно составленному слову *водомер?*» Употребление и закрепление Пушкиным в русском языке так называемых «обру-

севших» слов иностранного происхождения, конечно, несколько не ослабляло русский язык, а лишь способствовало расширению его словарного состава.

Отвергая националистическую нетерпимость Шишкова к каким бы то ни было словам иностранного происхождения, Пушкин вместе с тем требовал там, где это возможно, перевода иностранных слов. Возражал он и против *механического* перенесения в русский язык форм другого языка. Именно эту точку зрения поэта выразили его слова в адрес цензуры, вычеркнувшей слово «вольнолюбивый»: «Уж эта мне цензура! Жаль мне, что слово *вольнолюбивый* ей не нравится: оно так хорошо выражает нынешнее *libéral*, оно прямо русское...» (Письмо Гречу 21 сентября 1821 года.)

Политическая реакционность взглядов Шишкова, получившая частное выражение в его взглядах на язык, вызывала всемерное одобрение царя и правительственных кругов. Успех его определился уже «Рассуждением о старом и новом слоге». «Книга сия, — писал Шишков, — чрез министра просвещения поднесена была его императорскому величеству, и я осчастливлен был за оную знаком монаршего благоволения. Российская академия удостоила меня почестью медали. Многие духовные и светские особы, службою, летами и нравами почтенные, похвалили мое усердие»¹¹.

Иной прием получила эта книга у защитников «нового слога». Выступив с критикой Шишкова, издатель «Московского Меркурия» П. И. Макаров сразу же подметил политическую реакционность содержания «Рассуждения». «Неужели сочинитель, — восклицал он, — для удобнейшего восстановления старинного языка хочет возвратит нас и к *обычаям* и к *понятиям старинным?*» Это стремление Шишкова получает у Макарова резкий отпор: «Не хотим возвратиться к обычаям праотеческим, ибо находим, что, вопреки напрасным жалобам строгих людей, нравы становятся ежедневно лучше!» Вопросы развития языка Макаров рассматривает с исторической точки зрения: «Язык следует всегда за науками, за искусством, за просвещением». Он, так же как и Шишков, понимает, что новые слова несут с собой новое общественное содержание, но делает из этого противоположные Шишкову выводы. Вся статья Макарова настойчиво призывала продолжать работу над созданием языка, одинакового для

книг и для общества. Критиковал Шишкова также «Северный вестник», поместивший статью от имени «деревенского жителя» А. З. Критик «Северного вестника», так же как и Макаров, защищал преобразование русского языка, утверждая, что новые слова необходимы для выражения новых понятий, и едко иронизировал над лингвистическими наблюдениями Шишкова¹².

В ответ на критические статьи Шишков опубликовал «Прибавление к сочинению, называемому «Рассуждение о старом и новом слоге». Толкуя о «нравах и обычаях старинных», он переходит здесь уже на прямой политический язык. Верность старине — это «почитание царей и законов», следование «вере, научающей человека кроткому и мирному житию». Успехи «нового слога», заимствование новых понятий — результат проникновения в Россию «развратных нравов, которым новейшие философы обучили род человеческий и которых пагубные плоды, после толикого пролияния крови, и поныне еще во Франции гнездятся». Эта же мысль развивалась Шишковым в написанном позже предисловии к «Переводу двух статей из Лагарпа». При переводе второй статьи Лагарпа он использовал свои сочиненные на основе церковнославянского языка слова. Новое выступление Шишкова получило отпор в статье будущего арзамасца Д. В. Дашкова в журнале «Цветник» (1810, т. VII). Дашков посвоему показал несостоятельность «филологических» упражнений Шишкова. Но одним из наиболее остроумных мест в критике Дашкова явилось перечисление галлицизмов, которыми Шишков, сам того не подозревая, пользовался в своем переводе из Лагарпа¹³.

И Макаров и Дашков в какой-то мере сыграли полезную роль, выступая против Шишкова. Но этих выступлений было недостаточно, ведь на стороне Шишкова были, по его самодовольному признанию, «многие духовные и светские особы, службою, летами и нравами почтенные». Понадобилась длительная и упорная атака на позиции «Беседы», на идеологию «варварства». И здесь Пушкин оказался в союзе с арзамасцами, членами литературного объединения, среди которых нашлись люди и далекие и близкие ему.



Глава третья

ПУШКИН И КРУГ АРЗАМАСЦЕВ

Отрывок из стихотворной речи Пушкина, прочитанный на одном из заседаний «Арзамаса», начинается восторженными строками:

Венец желаниям! Итак, я вижу вас,
О други смелых муз, о дивный Арзамас!

Эти строки относятся к сентябрю или октябрю 1817 года, когда Пушкин, окончив Лицей, переехал в Петербург и стал участником арзамасских собраний. До нас дошли только отрывки пушкинской речи, где упоминаются «беспечный колпак» (символическая красная шапочка французских революционеров), «лавры» (символ славы) и «розги» (символ обличения и наказания враждебных «Арзамасу» людей).

«Арзамас» возник в октябре 1815 года, а уже в ноябре в лицейском дневнике Пушкина появляется запись текста шуточной кантаты «Венчанье Шутовского», свидетельствующая о его интересе к этому обществу. В ней арзамасцы высмеяли увенчанье лавровым венком Шаховского, члена «Беседы», его единомышленниками — Шишковым и Буниной (факт, действительно имевший место). В декабре того же года Пушкин записал в дневнике свою эпиграмму на Шишкова, Шихматова, Шаховского («Угрюмых тройка есть певцов»). Его участие в борьбе против «Беседы» на стороне «Арзамаса» выразилось, как упоминалось выше, в ряде произведений. Связь с «Арза-

масом» до окончания Лицея Пушкин поддерживал через Вяземского, Жуковского, Карамзина, через своего дядю Василия Львовича, Александра Тургенева, а также через одного из лицейстов, С. Г. Ломоносова, который находился в переписке с Вяземским. Если формальное «посвящение» Пушкина в арзамасцы состоялось после выхода из Лицея, то фактически он был деятельным членом общества сразу же после его организации. В 1816 году имя Пушкина (с указанием его арзамасского прозвища «Сверчок») мы находим в перечне авторов задуманного «Арзамасом» литературного сборника. После переезда в Петербург он читал в «Арзамасе» свои произведения. Псевдонимами «Арзамасец», «Старый арзамасец», «Сверчок» он позднее, в 1818—1830 годах, подписал пять своих произведений. Со своей стороны, арзамасцы прекрасно понимали все значение участия в их обществе Пушкина. По воспоминаниям арзамасца Вигеля, «на выпуск молодого Пушкина (из Лицея. — Б. М.) смотрели члены «Арзамаса» как на счастливое для них событие, как на торжество»¹.

Все это само по себе возбуждает вопрос о позициях Пушкина среди арзамасцев. Но изучение вопроса важно и в другом плане. В этом литературном объединении состояли члены тайного общества. Там же Пушкин ближе сошелся с людьми, с которыми был связан на протяжении всей своей жизни: Жуковским, А. Тургеневым, П. Вяземским и др. Отношения Пушкина с ними и различия во взглядах, которые обнаруживались в дальнейшем все отчетливее, придают теме «Пушкин и Арзамас» принципиальное значение.

В истории русской литературы и общественной мысли пушкинской поры «Арзамас» занимает особое место. Этот литературный кружок, в составе которого находились такие виднейшие писатели, как Батюшков, Жуковский, Пушкин, получил в историографии и критике самую различную оценку. Если П. В. Анненков считал, что «Арзамас» сыграл огромную роль в формировании мировоззрения Пушкина, то Писарев видел в деятельности «Арзамаса» лишь «игрушечные интересы». Противоречивыми оставались мнения и позднейших исследователей. А. Н. Пыпин назвал «Арзамас» знаменитым «не совсем по заслугам», в то время как В. Е. Якушкин рассматривал

это общество как «важное по своему могучему влиянию на литературу»².

Были и попытки рассматривать «Арзамас» как политическую организацию. В этом плане комментировались факты активного участия в ней декабристов Николая Тургенева, Михаила Орлова, Никиты Муравьева. Для такой трактовки использовалось также полицейское донесение, где с присущим документам этого рода преувеличением о некоторых арзамасцах говорилось, что, с их точки зрения, «каждая мера правительства, в которой они не принимают участия, — мерзкая... Этот несносный тон, это фрондерство всего святого, доброго и злого в смеси, без различия, по одним страстям, заразило юношество». Отсюда некоторыми литературоведами делался вывод, что «Арзамас» был чуть ли не тайным агитационным центром, имевшим большое влияние на молодое поколение³.

Столь противоречивые оценки объясняются главным образом скудностью материалов, находившихся в распоряжении исследователей. Основой для суждения об «Арзамасе» служили немногочисленные мемуарные данные. Но мемуаристы — члены «Арзамаса» — сами же давали материал для противоречивых оценок. С. Уваров утверждал, что в «Арзамасе» занимались строгим разбором литературных произведений, применением к языку и словесности отечественной всех (1) источников древней и иностранных литератур, изысканием начал, служащих основанием твердой самостоятельной теории языка, и пр. В то же время под влиянием «Арзамаса» создавались стихи Жуковского, Батюшкова, Пушкина. Иного мнения придерживался другой арзамасец — Вигель, писавший в своих воспоминаниях: «С какой целью составилось это общество, теперь бы этого не поняли. Оно составилось невзначай, с тем чтобы проводить время приятным образом и про себя смеяться глупостям человеческим»⁴.

Дополнениями к воспоминаниям современников служили протоколы «Арзамаса», которые до недавней поры были опубликованы лишь частично. Поэтому как самые предметы занятий «Арзамаса», так и роль в нем отдельных участников (в частности, впоследствии вошедших в него будущих декабристов — Н. Тургенева, М. Орлова,

Н. Муравьева) устанавливались в значительной степени предположительно.

В 1933 году впервые стал известен ряд протоколов «Арзамаса», и суждения о его деятельности благодаря этому получили более прочную фактическую основу. Состав членов «Арзамаса» и круг их деятельности — все это может быть теперь охарактеризовано точнее и полнее. Многие проясняет и дошедшая до нас переписка членов «Арзамаса» (частью еще не опубликованная). В результате лицо «Арзамаса» вырисовывается сейчас определеннее. Прав Д. Д. Благой, который считает, что «в ряду общественно-литературных группировок того времени «Арзамас», несомненно, был группировкой общественно-передовой, прогрессивной»⁵.

В отличие от таких литературных организаций, как, например, Большое общество любителей российской словесности, «Арзамас» объединил людей, связанных между собой не только литературными вкусами, но прежде всего дружескими отношениями. Основную группу членов составили сторонники Карамзина, активно выступавшие в литературной полемике против А. С. Шишкова и «Беседы любителей русского слова», — В. Пушкин, Дашков, Вяземский, Батюшков, Жуковский; к ним примкнуло несколько любителей, интересовавшихся литературой (Д. Н. Блудов, А. И. Тургенев, Ф. Ф. Вигель, А. А. Плещеев и др.).

Наконец в этом обществе встречались лица, совершенно чуждые литературе. Так П. И. Полетика, Д. П. Северин стали членами «Арзамаса» потому, что были сослуживцами Блудова и Дашкова по Министерству иностранных дел; близким к этой группе чиновников-сослуживцев был и Уваров — деятельный сотрудник руководившейся этим же министерством газеты «Conservateur Impartial» (не случайно поэтому министр иностранных дел гр. Каподистрия был избран почетным членом «Арзамаса»). Д. А. Кавелин, приятель Тургеневых и Жуковского, был введен в «Арзамас» Жуковским. Товарищескими отношениями были связаны между собой также А. И. Тургенев, С. П. Жихарев и А. Ф. Воейков. Таким образом, полностью подтверждается воспоминание П. А. Вяземского об «Арзамасе»: «Это было новое скрепление дружеских и литературных связей, уже существовавших прежде ме-

жду приятелями». Но такой принцип организации литературных объединений, весьма характерный для той поры, быстро обнаружил свою слабость. Объединение в одну группу таких различных по своим идейным воззрениям людей, как Северин, Кавелин, Блудов, настроенных консервативно, и левого (в эти годы) «либералиста» Вяземского не могло принести положительных результатов. Последующий приход в «Арзамас» будущих декабристов М. Ф. Орлова, Н. И. Тургенева, Н. М. Муравьева, предъявлявших к деятельности арзамасцев совершенно новые требования, окончательно показал, насколько идейно разнородным было это объединение⁶.

Необходимо остановиться на предыстории «Арзамаса», в свете которой проясняются и некоторые черты последующей деятельности кружка.

Основные литературно-полемические произведения арзамасцев, имеющие программный характер, написаны до 1816 года, в разгар полемики с Шишковым и «Беседой». Среди них прежде всего следует назвать уже упоминавшиеся критическую статью и брошюру Д. В. Дашкова. Эта статья вскрывала идеологическую основу реакционных попыток Шишкова противодействовать обновлению языка и пропагандировать феодально-церковное реставраторство в литературе. Выступлениям Дашкова сопутствовал ряд стихотворных посланий, посвященных тому же. Своеобразным литературным манифестом явилось послание В. Л. Пушкина (впоследствии старосты «Арзамаса») «К В. А. Жуковскому» (1810). Это послание арзамасцев называли «манифестом о войне с противниками», а автора его — бойцом, который «первый водрузил хоругвь независимости на башнях халдейских». Посланию предшествовал эпиграф декларативного характера: «Всегда и было и будет позволено употребить слова, означенные обычаем. Как леса на склоне года меняют листья, и ранее появившиеся листья опадают, так проходит пора старых слов, и в употреблении цветут и крепнут вновь появившиеся». Далее В. Л. Пушкин формулирует свое отношение к русскому языку, совершенно отличное от шишковистов:

В славянском языке и сам я пользу вижу,
Но вкус я варварский гоню и ненавижу⁷.

В. Л. Пушкин иронически использует тезис «раскольников-славян»:

Кто пишет правильно и не варяжским слогом,
Не любит русских тот и виноват пред богом *.

В дальнейшем ходе полемики он выступил с стихотворением «К Д. В. Дашкову» (1811). В нем В. Л. Пушкин еще более резко развивает мысль, что совместить патриотизм с ненавистью к просвещению невозможно («Ученым быть не грех, но грех во тьме ходить») ⁸.

С теми же идеями мы встречаемся в цикле посланий П. А. Вяземского 1813—1816 годов («К Батюшкову», «К друзьям», «К Жуковскому», «Ответ на послание В. Л. Пушкину» и др.) и Жуковского «Послание к кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814), а также в обильной переписке будущих арзамасцев. В активе противников «Беседы» имелись также написанная Батюшковым еще в 1809 году сатира «Видение на берегах Леты», его же (в сотрудничестве с А. Е. Измайловым) «Певец в Беседе славянороссов» (1813) и упомянутая выше сатирическая поэма А. С. Пушкина «Тень Фонвизина» (1815). Осмеяние тупости и невежества Шишкова и его сподвижников, пародирование бездарных виршеписцев, обличение реакционного национализма — основное содержание этих произведений. Использовалась в полемике также сатира Воейкова «Дом сумасшедших» (осмеивавшая, впрочем, сторонников как одного, так и другого лагеря).

Уже из этого краткого перечисления авторов полемических произведений можно сделать вывод о сплоченности основного ядра будущих арзамасцев, начавших свои выступления под общими лозунгами почти за пять лет до организационного оформления своего кружка. Сплоченность этой группы ярко проявилась в защите Жуковского от нападок Шаховского. Пьеса Шаховского «Липецкие воды», поставленная на сцене в сентябре 1815 года и осмеивавшая Жуковского ** вызвала быструю и решительную контратаку. В «Сыне отечества» появляется написанное Дашковым резкое «Письмо новейшему Аристо-

* Ср. близкие строки в послании А. С. Пушкина 1816 года «К Жуковскому» (в рукописи подписано «Арзамасец»):

Кто выражается правдивым языком...

Он враг отечества, он сеятель разврата!

** Жуковский высмеивался здесь под именем балладника Фиалкина.

фану», где Шаховской обвинялся не только в зависти к талантам, но и в протаскивании своих пьес наперекор вкусам публики (Шаховской заведовал репертуаром). Дашков пишет «Кантату», сатирически изображающую «подвиги» «Шутовского». Вяземский печатает в «Российском Музеуме» «Письмо с Липецких вод», едко высмеивающее автора и героев комедии, а также целую серию эпиграмм в различных изданиях. Наконец Блудов пишет памфлет «Видение в какой-то ограде, изданное обществом ученых людей». Содержание «Видения» связано с именем города Арзамаса. В одном из арзамасских трактиров в определенные дни собиралось «общество друзей литературы, забытых Фортуною и живущих вдали от столицы». Однажды поздно вечером беседа этих друзей была прервана бормотанием, доносившимся из соседней комнаты, в которой остановился какой-то «тучный проезжий». Через широкую щель в перегородке друзья увидели проезжего, а затем услышали его «реляцию о каком-то своем видении». Эта «реляция» — рассказ проезжего о призраке, явившемся ему после возвращения с заседания «Беседы». Призрак произносит перед проезжим речь, в которой и содержалось обличение Шаховского («Омочи перо твое в желчь твою и возненавидь кроткого юношу, дерзнувшего оскорбить тебя талантами и успехами... и твою грязью природной обрызгай его и друзей его» и т. д.)⁹.

«Видение» было восторженно принято друзьями Блудова, а мысль об арзамасском кружке литераторов использована для организации «Арзамаса». Однако «Видение» Блудова явилось здесь лишь случайным, чисто внешним поводом. Необходимость организационного оформления противников «варягороссов» была давно осознанной. Так, Вяземский еще в 1813 году писал А. Тургеневу: «Зачем нашей братии скитаться?.. Посмотри на членов «Беседы»: как лошади, всегда все в одной конюшне, и если оставят конюшню, так цугом или четвернею заложены вместе. По чести, мне завидно, на них глядя... Когда заживем и мы по-братски: и душа в душу и рука в руку?»¹⁰

14 октября 1815 года в доме Уварова состоялось первое (организационное) собрание «Арзамаса», на котором присутствовали: Жуковский, А. Тургенев, Дашков, Жихарев, Блудов, Уваров. Уже на этом заседании был выработан ставший традиционным шутливый тон «Арза-

маса», а также ритуал заседаний. Как рассказывает протокол, присутствовавшие «торжественно отреклись от имен своих, дабы означить тем преобразование свое из *ветхих* арзамасцев, оскверненных сообществом с халдеями «Беседы» и Академии, в *новых*, очистившихся через потоп Липецкий. И все приняли на себя имена мученических баллад, означая тем свою готовность: 1-е, потерпеть всякое страдание за честь «Арзамаса», и 2-е, быть пугалами для всех противников его по образу и по подобию тех бесов и мертвецов, которые так ужасны в балладах» *. На этом же заседании была принята «формула торжественного обещания», а также постановлено, чтобы каждый из вновь вступающих читал ироническую «похвальную речь своему покойному предшественнику». Но за неимением собственных покойников, «новоарзамасцы... положили брать напрокат покойников между халдеями «Беседы» и академии, дабы им воздавать по делам их, не дожидаясь потомства». Отсюда понятен конкретный смысл слов Пушкина в письме к Вяземскому 27 марта 1816 года о желании участвовать «в невинном удовольствии погребать покойную Академию и Беседу губителей российского слова» ** 11.

Пародирование обычаев чиновно-бюрократических учреждений типа «Беседы» или Российской академии, характерно для всей деятельности «Арзамаса». В отличие от сановных «беседчиков», установивших целую серию подразделений в «Беседе» (попечители, почетные члены, сотрудники), арзамасцы установили только один титул: «его превосходительство гений «Арзамаса», друг друга именовали «гражданин» и «согражданин», а свой кружок назвали «обществом безвестных людей». Местом собраний «Арзамаса» «положено признавать всякое место, на коем будет находиться несколько членов налицо».

* Вот прозвища основных участников «Арзамаса»: Асмодей — Вяземский, Ахилл — Батюшков, Ивиков-Журавль — Вигель, Касандра — Блудов, Светлана — Жуковский, Старушка — Уваров, Эолова арфа — А. Тургенев, Сверчок — А. Пушкин, Армянин — Д. Давыдов и др. Прозвища брались из баллад Жуковского (Сверчок из «Светланы», Чу — прозвище Дашкова — восклицание из «Людмилы» и др.)

** В «Арзамасе» объектом критики были также и другие консервативные организации, в частности Общество любителей российской словесности при Московском университете (оно именовалось «Московская беседа»).

Торжественности заседаний «Беседы» противопоставлялся домашний характер собраний. Идеологическое размежевание с «халдеями» было отмечено также введением в церемонию «Арзамаса» красного колпака, который надевался на голову очередного председателя собрания (на арзамасца, совершившего какой-либо проступок надевали белый колпак).

Все эти «правила» неукоснительно выполнялись арзамасцами. Вступавшие в «Арзамас» произносили речи, в которых, пародируя слог «духовных книг», подвергали осмеянию членов «Беседы» и академии. Специальных речей арзамасцев «удостоились» А. А. Шаховской, Д. И. Хвостов, А. С. Хвостов, А. П. Бунина, И. С. Захаров, П. И. Голенищев-Кутузов, С. А. Шихматов, С. С. Филатов, П. И. Соколов. Однако все эти речи мало отличаются одна от другой, ибо авторы их старались подделываться под принятую в «Арзамасе» манеру. И если бы мы не знали, что все эти забавы имели под собой более серьезное основание — действительную ненависть к литературным реакционерам, защиту просвещения, обличение идеологии шишковистов, то вся деятельность «Арзамаса» в самом деле казалась бы игрой вроде «навязывания бумажки на Зююшкин хвост» (Писарев). Такому впечатлению от арзамасских заседаний (до прихода в «Арзамас» декабристов, о чем речь будет ниже) способствует также стиль некоторых протоколов, писанных секретарем «Арзамаса» Жуковским, в которых даже серьезным вопросам придана шуточная окраска. Эти протоколы не дают представления о существе, а только о предметах занятий. Например, предложение подвергать критическому разбору стихотворения членов кружка записано в такой форме: «Читать друг другу стишки, царапать друг друга критическими колкостями». В протоколах действительно встречаются ссылки на чтение и обсуждение произведений арзамасцев. Читаны были эпиграммы Вяземского, некоторые переводы Дашкова, стихотворения Жуковского («Певец в Кремле», «Овсяный кисель», «Вадим», «Красный карбункул»), «Вечер у Кантемира» Батюшкова. Есть указание, что читались главы из «Истории государства Российского» Карамзина. В письме П. А. Вяземскому (от 17 апреля 1818 года) В. Л. Пушкин сообщает: «...мой племянник пишет прекрасную поэму и читал из нее отрывки в последнем Арзамасе...» Из

этого можно заключить, что А. С. Пушкин читал в «Арзамасе» отрывки из «Руслана и Людмилы»¹².

Насколько деловой была в «Арзамасе» критика прочитанных произведений, по протоколам опять-таки судить трудно (например, по поводу чтения эпиграмм Вяземского в протоколе второго заседания отмечено: «Члены, восхищенные ими, восклицали: «Экой черт!»). Вероятно, и чтение произведений происходило в атмосфере не очень-то деловой¹³.

Все это вызвало вскоре неудовлетворенность ряда арзамасцев направлением кружка. Уже в середине 1816 года В. Л. Пушкин в послании «К арзамасцам» (написанном как раз в связи с критикой его стихов) пишет:

Прямая наша цель есть польза, просвещенье,
Богатство языка и вкуса очищенье,
Но должно ли шутя о пользе рассуждать?
Глупцы не престают возиться и писать.
Дурачить Талию, ругаться Мельпомене:
Смеемся мы тайком — они кричат на сцене.
Нег, явною войной искореним врагов!¹⁴

Насколько назрела необходимость изменения характера деятельности «Арзамаса», свидетельствует уже тот факт, что выйти на арену общественной борьбы («явною войной искореним врагов») призывал даже такой политически умеренный арзамасец, как В. Л. Пушкин. Такие же требования появляются и в речах других членов кружка. Раздаются голоса о необходимости издавать журнал (письмо Батюшкова Вяземскому 4 марта 1817 года и Вяземского А. Тургеневу 27 сентября 1816 года). Однако нужны были новые люди, для того чтобы с достаточной резкостью поставить вопрос о реорганизации «Арзамаса», о повороте к активной общественной деятельности. Такие люди нашлись. Именами Н. И. Тургенева, М. Ф. Орлова и Никиты Муравьева, вступивших в «Арзамас» в 1817 году, история этого кружка оказалась связанной с историей полулегальной агитационной работы деятелей ранних революционных организаций декабристов¹⁵.

Н. Тургенев (член «Ордена русских рыцарей», а затем один из активнейших членов «Союза благоденствия»), вернувшись в Петербург из-за границы в октябре 1816 года, естественно заинтересовался «Арзамасом», членом которого состоял его брат и в составе которого нахо-

дились видные писатели. С первого дня появления в «Арзамасе» (11 ноября 1816 года) он начинает готовить почву для того, чтобы использовать «Арзамас» в пропагандистских целях. Из разговоров с арзамасцами он убеждается, что «все согласны в необходимости уничтожить рабство». Но Тургенев хорошо понимал разницу между словами и делами. В дневнике он писал об арзамасцах: «Они говорят, что любят то же, что и я люблю. Но я этой любви не верю. Что любишь, того и *желать* надобно. Они же желают цели, но не желают средств. Все отлагают на время... Вопрос в том: должно ли то быть, что желательно? — Должно. Есть ли теперь удобный случай для произведения чего-либо в действо? — Есть... Итак, из сего следует, что надобно делать, — «дерзайте убо, дерзайте, людие божи». Не следует думать, что Тургенев призывал арзамасцев к революционной борьбе: речь могла идти об использовании легальных форм для широкой политической пропаганды. Направление, избранное «Арзамасом», решительно не удовлетворяет Тургенева. В его письме к С. И. Тургеневу 30 ноября того же года арзамасцы осуждаются за то, что «критика их, равно как и похвалы, относятся все к тем же вещам, как и прежде: вечный Шишков, над коим один только ум Блудова может смеяться новым образом; вечный Шаховской, над которым бы и смеяться не стоит труда; и, наконец, с противной стороны вечный Карамзин!»¹⁶

24 февраля 1817 года Н. Тургенев выступил в «Арзамасе» с речью, в которой пытался подражать традиционному шуточному стилю кружка, но в то же время провести в ней ряд серьезных политических идей. Первое плохо удалось, и острооты его явно вынужденны. Содержанием же речи является критика отчетного заседания Публичной библиотеки. Наиболее острое место речи — осмеяние утверждений Греча, что цензура является следствием существования благоразумной свободы. По этому поводу Тургенев замечает: «Я невольно вспомнил о том, как не только у нас, но и во всей Европе, приятными наименованиями стараются покрывать наготу деспотизма и порока». Эта речь своей политической злободневностью резко нарушила обычный тон арзамасских речей. В протоколе (как обычно, шуточном) выступление Тургенева было отмечено особым образом: «Лицо его пылало огнем геройства, и голова, казалось нам, дымилась, как

Везувий. Извержение черепа воспоследовало, пролилась река лавы»¹⁷.

Еще более энергично пытался перестроить деятельность «Арзамаса» М. Ф. Орлов, также член «Ордена русских рыцарей», впоследствии ставший крупным деятелем «Союза благоденствия». Орлов не только требовал расширить круг действия «Арзамаса», но также увеличить число членов и даже учредить небольшие отделения общества в местах, где окажется тот или иной арзамасец.

Большим событием явилась речь М. Ф. Орлова на заседании «Арзамаса» 22 апреля. Отметив, что его руке, «обыкшей носить тяжкий булатный меч брани», трудно «владеть легким оружием Аполлона», Орлов направил острие своей речи против журналов и в особенности против правительственной «Северной почты», способной «отвратить и от самого свободомыслия, ежели что-нибудь могло бы уклонить честного человека от полезных занятий». Заканчивается речь призывом к арзамасцам определить «цель, достойнейшую ваших дарований и теплой любви к стране Русской. Тогда-то Рейн* прямо обновленный потечет в свободных берегах «Арзамаса», гордясь нести из края в край, из рода в род не легкие увеселительные лодки, но суда, наполненные обильными плодами мудрости вашей и изделиями нравственной искусственности». Только после изменения направления «Арзамаса» для этого кружка начнется, по мнению Орлова, «тот славный век, где истинное свободомыслие могущественной рукой закинет туманный кризис предрасудков за пределы Европы»¹⁸.

Следствием усилий Орлова явилось решение арзамасцев об издании своего журнала. Журнал, по мнению Орлова, должен был играть роль пропагандиста свободлюбивых идей в декабристском духе. Об этом свидетельствует запись Жуковского речи Орлова на двадцатом заседании «Арзамаса» в июне 1817 года. Направление журнала символизируется здесь в образе некоего божества:

С яркой звездой на главе Гением тихим носилось
В свежем гражданском венке божество: *Просвещение*, дав руку
Грозной и мирной богине *Свободе*¹⁹.

* Арзамасское прозвище М. Орлова.

В наброске программы журнала фигурирует имя одного из самых замечательных деятелей тайного общества — Никиты Муравьева (Адельстана) как участника политического отдела журнала. Направление журнала, по справедливому замечанию М. В. Нечкиной, как бы предваряет направление будущего «Союза благоденствия» (членами которого М. Орлов и Н. Тургенев стали в 1817 году, то есть в последний период существования «Арзамаса»). Однако новаторские идеи Орлова далеко не у всех арзамасцев вызвали сочувствие. Если Н. Тургенев с восторгом отозвался о них в своем дневнике, то Северин в ответе Орлову ограничился обычной арзамасской болтовней, в которой содержалось недвусмысленное предостережение: «Умерьте пространство вашего плаванья; постарайтесь в месте сидения вашего не разливаться и не топить нас». Из сохранившегося в бумагах «Арзамаса» «Мнения» (письма) А. Тургенева о журнале (под этим «мнением» имеются подписи других арзамасцев) видно, что он явно старается направить политические установки Орлова в сторону более умеренную. Журнал, согласно этой декларации, должен быть «посредником между Европою и Россией... повествуя о новых успехах гражданственности». Но здесь же провозглашается необходимость доказывать, «что в руках благоразумия никогда факел света не превратится в факел зажигателя. Мы будем помнить, что наша святая обязанность не волновать умы, а возвышать их: действие «Арзамаса» да будет медленно, но мирно и благотворно». Таким образом, перед нами программа умеренного, осторожного либерализма. Но еще менее одобрял намеченный политический поворот «Арзамаса» Жуковский. Жуковский был наиболее последовательным сторонником принятого в «Арзамасе» шутивного направления, утверждая, что «арзамасская критика должна ехать верхом на галиматье». Ему внутренне было свойственно стремление отстраниться от общественно-литературной борьбы. Еще в 1815 году, в разгар полемики, он писал в письме А. П. Елагиной-Киреевской: «Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы и все молчали»²⁰.

Все же руководство «Арзамасом» в 1817 году фактически переходит к М. Орлову и Н. Тургеневу. В «законах», то есть в уставе «Арзамаса», целью общества опре-

деляется «польза отечества, состоящая в образовании общего мнения, то есть в распространении познаний изящной словесности и вообще мнений ясных и правильных». На заседаниях «Арзамаса» на квартире у Орлова, где обсуждались «законы» «Арзамаса» и программы журнала, бывал и Пушкин. Развивая свои идеи, М. Орлов предложил показать в журнале выгоды «представительной системы» правления, то есть конституционных порядков. Внимание членов кружка все более и более сосредоточивается на вопросах политических. Издание журнала казалось вначале делом вполне реальным. В архиве братьев Тургеневых сохранилось письмо И. И. Дмитриева, из которого следует, что на журнал уже началась было предварительная подписка²¹.

Однако поворот, который пытались придать «Арзамасу» будущие декабристы, оказался слишком крутым. В 1818 году «Арзамас» распался. Внешней причиной этого распада явился отъезд из Петербурга Дашкова, Полетики, Орлова, Вяземского и др. Внутренняя же причина была значительно более серьезной. «Арзамас», не представлявший собой, с точки зрения политической, прочного объединения, не мог существовать как общество с сложными литературно-общественными задачами. Именно потому и не состоялось издание арзамасского журнала, хотя для этого было вполне достаточно и оставшихся в Петербурге арзамасцев.

Не осуществилась и идея Орлова об учреждении в месте пребывания каждого члена, живущего вне Петербурга, как бы филиалов «Арзамаса», руководимых центральным петербургским кружком (эта идея явилась прямым отражением организационно-пропагандистских установок «Союза благоденствия»). Н. Тургенев с присущей ему пронизательностью писал брату (С. И. Тургеневу) по поводу одного из арзамасцев — «дипломатического щенка» — Северина: «Но чего ожидать от таких и вообще от всех почти людей? Наш образ мыслей, основанный на любви к отечеству, на любви к справедливости и чистоте совести, не может, конечно, нравиться хамам и хаменкам... Все эти хамы, пресмыкаясь в подлости и потворстве, переменяв тысячу раз свой образ мысли, погрязнут, наконец, в пыли» (письмо от 25 апреля 1818 года). Время подтвердило и скептицизм С. И. Тургенева, который, зная о настроениях Северина

и ему подобных, писал Жуковскому в декабре 1817 года в связи с проектом арзамасского журнала: «...брат Николай будет едва ли не в пустыне проповедовать, или по крайней мере можно опасаться, как бы такие проповеди тем не кончились»²².

И действительно, вскоре большая группа арзамасцев перешла в другой лагерь. Северин, после попыток Н. Тургенева и Орлова перестроить «Арзамас», явно охладел к этому кружку. Об этом говорит следующая ханжеская записочка Северина с отказом участвовать в заседании «Арзамаса» (обнаружена нами в архиве Вяземского): «На этих днях я говел, любезный друг, и не могу позволить себе смеяться много накануне большого праздника. Каково признание? Не тебе бы, Асмодею, слышать... Жалей об этом, сколько хочешь, но не сердись на меня». В 1818 году Северин женился на сестре ярого монархиста Стурдзы и, гордясь новым родством, стал демонстрировать свое сочувствие реакционной политике. Д. А. Кавелин, будучи директором Петербургского университета, в 1821 году сыграл активную роль в позорной истории изгнания профессоров, обвиненных в «вольномудстве». Уваров в царствование Николая I стал одним из наиболее крайних выразителей и проповедников реакционной политики. Наконец Блудов оказался в 1826 году автором «Донесения следственной комиссии по делу о тайных обществах» и, следовательно, обвинителем тех, с кем вместе заседал в «Арзамасе»²³.

К числу наиболее левых по своим убеждениям арзамасцев принадлежал Вяземский. Он горячо откликнулся на предложение издавать журнал и даже написал программу его. Вероятно, именно поэтому М. Орлов обратился к нему из Киева 22 марта 1820 года с проектом возрождения «арзамасского братства» опять-таки на базе организации журнала для пропаганды необходимости конституции (характерно, что руководителем журнала предлагался Никита Муравьев). Письмо М. Орлова, последняя попытка возродить «Арзамас» наподобие и по образцу «вольных обществ» «Союза благоденствия», представляет большой интерес. В этом письме Орлов так излагал цели журнала:

«Самое настоящее место для издания журнала — это Варшава... Там хотя не существует еще вольное книгопечатание, но по крайней мере оно торжественно обе-

шано. Там ты имеешь свое пребывание постоянно. Сколько предлогов для издания журнала рождаются, так сказать, из самой сущности вещей? Не стыдно ли, что посюда польская конституция еще не переведена на русский язык? Не стыдно ли, что в России неизвестно, о чем поляки рассуждали на последнем сейме? Не стыдно ли, что непроницательная завеса неизвестности покрывает от нас все покушения поляков на Россию? Ты определен, кажется, судьбою, чтоб сорвать сию завесу, чтоб показать, с одной стороны, то, что делается для водворения свободного правления в Польше, а с другой — то, что предпринимается для уничтожения российской славы. Я знаю, как трудно сие исполнить, но у тебя есть голова и перо, у тебя родилось, судя по письму твоему, то священное пламя, которое давно согревало мое сердце и освещало мой рассудок. Тебе предстоит честь и слава.

Показавши цель, покажу и средства.

Проект журнала должен быть составлен в самом умеренном духе:

«Во-первых: в оном должно показать намерение сплести новый узел к соединению двух народов. *Во-вторых:* предварить, что будут помещены статьи о польской словесности, дабы познакомить с оною россиян. *В-третьих:* то же можно сказать и о постановлениях, опираясь на истину, что короткое знакомство есть основание дружбы между людьми, как между народами. *В-четвертых:* начать журнал переводом конституции, потом изложением последнего заседания, наконец переводом речей. К сему политическому изложению можно прибавить перевод каких-нибудь стихов, басенок и проч. *В-пятых:* известия о происшествиях в Европе гораздо скорее доходят до Варшавы, нежели до России, почему и можно будет помещать оные в подробности, опираясь в проекте на истину, что Россия перестанет платить значительную дань чужим землям за их журналы. Сие весьма нужно хотя единственно для соревнования с гимнами «Инвалида».

Форма журнала должна быть та же, что и французских ежедневных газет. Имя журнала предлагаю: *«Российский наблюдатель в Варшаве»*. На предприятие я сам внесу значительную вкладу. Остальной капитал можно набрать акциями.

Тебе надобно собрать сотрудников, из коих один решится, может быть, на сие дело. Он наш арзамасец, а именно *Никита Муравьев*. Он недавно оставил службу и, сколько я знаю, горит желанием быть полезным.

Я, Николай Тургенев, Дашков и Сергей Тургенев в Царьграде, Блудов в Англии и прочие арзамасцы будут твоими сотрудниками. Таким образом, самое разделение наше послужит к успеху.

Я с моей стороны один помещу (то есть размещу. — Б. М.) до двухсот экземпляров. По крайней мере надеюсь исполнить сие обещание.

Каков тебе кажется мой план? Чтоб не перебивать твоих мыслей, ни одного слова более не прибавлю. Оставляю сие на твое размышление и с нетерпением ожидать буду твоего ответа. Рейн»²⁴.

Характерно, однако, что Вяземский, занимая в «Арзамасе» левые позиции, пытался все же корректировать радикальные идеи, которые Орлов предлагал проводить. В замечаниях о программе журнала он протестовал против влияния на него революционных идей, подчеркивая, что цель политического отдела «сделать в китайской стене, отделяющей нас от Европы, не пролом, открытый наглости всех мятежных стихий, но по крайней мере отверстие, через которое мог бы проникнуть луч солнца»²⁵.

Проекту Орлова также не суждено было осуществиться. Знал ли Пушкин о нем? Как он вообще относился к проектам перестройки объединения? Хотя документальных материалов на эту тему и нет, на оба вопроса можно ответить утвердительно. Сохранился черновой набросок начала совместного письма Пушкина и Орлова арзамасцам, написанного в Кишиневе в 1820 году. Не может быть сомнений в том, что Орлов осведомил Пушкина о своих планах. Пушкин же, еще будучи лицеистом, больше всего ценил боевые выступления арзамасцев. Об этом свидетельствует письмо В. Л. Пушкину в декабре 1816 года, где он отмечает уменьше арзамасцев не только обличать Шишкова и Шаховского, но

...с гневной музой Ювенала
Глухого варварства начала
Сатирой грозной осмеять...

Вся поэтическая деятельность Пушкина в годы существования «Арзамаса» свидетельствует о том, что он

мог только поддерживать самые радикальные проекты реорганизации кружка.

Но распад «Арзамаса» совершился бесповоротно. Роль руководителей литературного движения переходила к людям иного типа, к людям, связавшим свою судьбу с революционным движением, с деятельностью декабристских организаций.

К этим людям и примкнул Пушкин. Сближение Пушкина с деятелями тайного общества шло параллельно его идейному размежеванию с теми арзамасцами, которые обнаружили крайнюю шаткость своих позиций.

Отзывы Пушкина об арзамасцах отличаются обычной для него пронизательностью. К Николаю Тургеневу и М. Орлову он, как известно, относился с большим уважением и был с ними близок. Когда после разгрома декабрьского восстания разнеслись слухи о том, что Англия выдаст Н. Тургенева для расправы Николаю I, Пушкин написал скорбное стихотворение «Так море, древний душегубец». Образ Тургенева как человека, целиком захваченного идеей уничтожения рабства, преданного родине, намечен в десятой главе «Евгения Онегина».

Быстро разгадал Пушкин тех арзамасцев, которых Н. Тургенев называл «хамами и хаменками», готовыми переменить «тысячу раз свой образ мысли». По поводу реакционных «подвигов» Кавелина, его участия в разгроме прогрессивной профессуры, у Пушкина сказано:

..бедный мой Кавелин — дурачок,
Креститель Галича, Магницкого дьячок.

(«Второе послание к цензору»)

Блудова Пушкин иронически называл «маркизом» и выговаривал Жуковскому за то, что он прислушивается к блудовскому мнению. С «модным господином» Севериным Пушкин был во враждебных отношениях. Однажды между ними произошла ссора, при которой (по словам А. И. Тургенева) Пушкин «едва не поколотил его»²⁶.

Существенные различия были во взглядах Пушкина и тех арзамасцев, с которыми он был в близких отношениях — Жуковским, Вяземским, А. Тургеневым.

Это были люди, которые искренно любили Пушкина. Они оценили его дарование, когда юный поэт делал еще

первые шаги в литературе, гордились им и радовались его успехам. Пушкин в свою очередь испытывал к ним дружеские чувства. И тем не менее отношения между всеми этими людьми и Пушкиным не были отношениями безусловных идейных сподвижников, ратников одного лагеря, как это представлялось в старом пушкиноведении. По мере развития политических взглядов Пушкина, по мере того как обострялась общественная борьба, дифференцировались социальные слои, не только Жуковский или Александр Тургенев, но даже Вяземский все более отдалялся от идейных позиций Пушкина. Этого не могут опровергнуть ссылки на тесные отношения между Пушкиным и его друзьями. Несомненно, что в литературоведении будет продолжен пересмотр вопроса об идейных единомышленниках Пушкина, начатый П. Е. Щеголевым, который раскрыл роль Жуковского и Вяземского в создании после смерти поэта легенды о «смирившемся» Пушкине²⁷.

Конечно, в период «Арзамаса» расхождения во взглядах между Пушкиным и некоторыми людьми из его окружения только еще намечались. Но тем важнее отметить элементы этих расхождений, получившие в дальнейшем развитие.

О принципиальных различиях между идейными и эстетическими позициями Пушкина и Жуковского нам уже приходилось писать, как и о попытках Жуковского «умерить» свободолюбивую настроенность Пушкина, остепенить его. Подобного рода воздействие пытались оказать на Пушкина и другие арзамасцы, как, например, Вигель, которому Жуковский и Блудов поручили, по его словам, «войти в доверенность» к Пушкину и «отклонять его от неосторожных поступков» (то есть от проявления антиправительственных настроений). А. Тургенев при всем своем дружеском отношении к Пушкину и восхищении его талантом все же считал максималистскими политические взгляды Сверчка. В письме к Жуковскому от 12 ноября 1817 года А. Тургенев писал: «Посылаю послание ко мне Пушкина-Сверчка, которого я ежедневно браню за его леность и нерадение о собственном образовании. К этому присоединились и вкус к площадному волокитству и вольнодумство, также площадное, XVIII столетия. Где же пища для поэта?» Как мы видим, Тургенев, наряду с отеческим сегованием на «леность» и

«волокитство» * отрицательно оценивал умонастроение Пушкина — «площадное вольнодумство XVIII столетия» (намек на французскую революцию). И это не было случайным замечанием Тургенева. В 1819 году он говорит о стихотворении Пушкина «Деревня»: «Есть сильные и прелестные стихи, но и преувеличения насчет псковского хамства» (то есть насчет ужасов крепостничества). А когда в том же году Вяземский написал стихотворение, обращенное к крепостному поэту И. С. Сибирякову, которого его владелец, помещик Маслов, не отпускал без выкупа, А. Тургенев сообщил Вяземскому: «Пушкин бесится, что ты отнял у него такой богатый сюжет, а я этому рад, ибо он пересолил бы и само негодование». И в самом деле, стихотворение Вяземского не шло дальше выражения сочувствия Сибирякову и не приближалось к тем обобщениям о судьбе крепостного крестьянства, которое содержалось в «Деревне» Пушкина ²⁸.

В литературе о Пушкине можно встретить ссылки на то, что семья Тургеневых оказала положительное влияние на формирование идеологии поэта. Известно, что ода «Вольность» написана Пушкиным у них на квартире. Но характер А. Тургенева, его благодушие и терпимость были противоположны цельности и устремленности Н. Тургенева, который действительно сыграл заметную роль в идейной биографии Пушкина. Не случайно А. Тургенев, общавшийся с молодыми вольнодумцами, несколько не смущался тем, что совмещает эти свои связи и членство в «Арзамасе» с обязанностями директора департамента духовных дел и секретаря Библейского общества. У Пушкина, дружившего с А. Тургеневым, это смешение «интересов» вызывало ироническое отношение. Оно сказалось в стихотворении Пушкина «Тургеневу», так же как и в наброске, связанном с назначением Тургенева камергером:

В себе все блага заключая,
Ты, наконец, к ключам от рая
Привяжешь камергерский ключ

Для характеристики своеобразия позиций Пушкина среди арзамасцев показательное отношение поэта к «бо-

* Кстати говоря, Пушкин вернул эти упреки в адрес самого Тургенева (см. стихотворение «Тургеневу», 1817).

жеству» «Арзамаса» — Карамзину. Дружба Пушкина с Карамзиным с годами ослабевала, глубокое уважение, которое юный поэт испытывал к главе русского сентиментализма и прославленному историографу, временами сменялось открытыми заявлениями о прямой реакционности карамзинских взглядов. Но об этом ниже. Пока же напомним, какое глубокое возмущение вызвала в кругу арзамасцев-карамзинистов пушкинская эпиграмма на Карамзина («В его истории изящность, простота...»). С другой стороны, лагерь карамзинистов многое не воспринимал в поэме Пушкина «Руслан и Людмила». В «Руслане» для карамзинистов не мог быть приемлемым новый подход к проблеме народности, отказ от условной стилизации «народной старины» и фольклора, столь характерной и для самого Карамзина (например, для его «Ильи Муромца») и его последователей. Демократическая народность Руслана, боевой дух поэмы, ее «земная» основа, враждебная религиозности и мистицизму, — все это вызвало отрицательное отношение к ней не только литературных староверов, но и правоверных карамзинистов. И. И. Дмитриев писал Вяземскому: «Что скажете вы о нашем «Руслане», о котором так много кричали? Мне кажется, это недоносок пригожего отца и прекрасной матери (музы). Я нахожу в нем очень много блестящей поэзии, легкости в рассказе: но жаль, что часто впадает в *бюролеск* и еще больше, что не поставил в эпиграф известный стих <Пирона> с легкою переменою: «La mère en défendra la lecture à sa fille» *». Дмитриев же утверждал, что в поэме нет «ни мыслей, ни чувств», есть лишь чувственность. Это была критика с позиций салонной эстетики. Да и сам Карамзин встретил «Руслана» сдержанно, именуя ее «поэмкой». «В ней, — писал он, — есть живость, легкость, остроумие, вкус; только нет искусного расположения частей, нет или мало интереса; все сметано на живую нитку»²⁹.

Характерно, что Пушкин в «Руслане и Людмиле» допустил полемические выпады против мистического романтизма Жуковского, пародировав его «Двенадцать спящих дев». Хотя Жуковский с действительной беспристрастностью откликнулся на «Руслана и Людмилу» над-

* Мать запретит дочери читать это (*франц.* — у Пирона — «предписет»).

писью «Победителю-ученику от побежденного учителя», но идеологическую поддержку своей поэмы и своего направления Пушкин получил из среды писателей-арзамасцев только от Вяземского, который, как уже было сказано, в то время находился в передовом литературном лагере, отстаивал платформу прогрессивного романтизма, горячо пропагандировал творчество Пушкина и обличал мракобесов.

Время, однако, отнюдь не содействовало развитию прогрессивных убеждений Вяземского, и не случайно после разгрома восстания декабристов он сумел сравнительно быстро справиться с чувством возмущения, которое у него вызвала террористическая тактика Николая I. Карьера Вяземского, ставшего позднее крупным деятелем правительственной бюрократии, говорит сама за себя.

Таким образом, из литераторов-арзамасцев в полной мере только Пушкин оказался способным бороться за развитие тех передовых тенденций русской культуры, за которые боролись и будущие декабристы.



Глава четвертая **ВМЕСТЕ С ДЕКАБРИСТАМИ**

Деятельностью декабристов ознаменована одна из лучших страниц истории русской культуры. В их творчестве было воплощено высокое сознание гражданского долга, глубочайшая преданность родине — черты, которые в дальнейшем нашли свое развитие у всех подлинных представителей передовой русской культуры, литературы, искусства.

Буржуазно-либеральное литературоведение не смогло подняться до осознания органической связи позиций декабристов по вопросам культуры и литературы с их революционной борьбой. Выступления декабристов по этим вопросам рассматривались Н. Котляревским и другими историками литературы лишь как факты их индивидуальной биографии. Между тем все дошедшие до нас материалы говорят о том, что декабристы защищали здесь в основном единые принципы. Эти принципы, несмотря на споры и разногласия декабристов по отдельным вопросам, составляют вполне определенную программу, сущность которой раскрыта впервые в советском литературоведении. Продолжая традиции Радищева, декабристы стали рассматривать борьбу за развитие передовой русской культуры как составную часть организованной революционной борьбы. История тайных обществ 10—20-х годов XIX века самым тесным образом связана с историей русской культуры. Начав борьбу за коренное изменение существующего строя, выступив против основ

феодално-крепостнического строя, декабристы всем своим творчеством пропагандировали революционное понимание задач развития культуры, литературы, науки, искусства. В ходе борьбы с самодержавием и крепостничеством вопросы развития национальной культуры не могли не выдвинуться на одно из первых мест.

Многие из декабристов ознаменовали своей деятельностью целую полосу в развитии русской культуры. Для большинства выдающихся деятелей декабризма был характерен энциклопедический интерес к науке, литературе, искусствам. Среди декабристов не была исключением широта интересов Пестеля, революционера и мыслителя, о котором Пушкин сказал: «...умный человек во всем смысле этого слова... Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...» О широте кругозора декабристов свидетельствуют многие, в немалой степени еще не опубликованные материалы декабристских архивов (так в архиве Н. М. Муравьева остались материалы по истории России и зарубежных стран, по теории красноречия и военному делу, по статистике, экономике, педагогике; в архиве С. П. Трубецкого — по географии, грамматике, русскому языку, ботанике, праву, теории музыки и т. д.)¹.

Особенно большое место занимала в жизни и деятельности декабристов литература.

Имена Рыльева, Кюхельбекера, Александра Одоевского, Владимира Раевского, Александра и Николая Бестужевых, Федора Глинки, Катенина в большей или меньшей степени вошли в историю русской литературы. Но чем дальше развивается изучение декабризма, тем более расширяются наши знания и о литературных интересах декабристов. Теперь нам известно, что литературным творчеством (преимущественно поэзией) занимались и декабристы, не являвшиеся писателями в обычном смысле этого слова, — Николай Тургенев, Завалишин, Барятинский, Михаил Бестужев, Батеньков, Василий Давыдов, братья П. С. и Н. С. Бобрищевы-Пушкины, Сергей Муравьев-Апостол, Заикин, Чижов, Вадковский, П. А. Муханов, Басаргин, Ф. П. Шаховской и др. Для одних занятия литературой остались фактом их личной биографии и отражали их идейные искания. Таковы, например, юношеские стихи Николая Тургенева, в которых он прославляет «разум истинный, чистейший», призывает истину, мечтает о времени, когда погибнет фанатизм,

суеверие и человек будет счастлив. Другие декабристы, не обладая поэтическим дарованием, в меру своих способностей все же писали стихи с целью политической агитации. К такого рода произведениям относятся, например, несовершенные, но политически острые стихи Завалишина, которые он распространял среди моряков, стихи, оканчивавшиеся строками:

Ах, скоро ль кончится терпенье
И долго ль будем в рабстве жить;
Свободы нашей похищенье,
Ах, долго ль будем мы сносить?!²

Но и среди декабристов, известных в качестве поэтов только в узком, своем кругу, были авторы произведений, в которых политическая острота соединялась с хорошей художественной формой. Такова популярная среди ссыльных декабристов песня Михаила Бестужева «Что не ветер шумит во сыром бору...», сатирические стихи Вадковского и Василия Давыдова, обличавшие следственный комитет и Николая I, и т. д.³

Большой интерес проявляли декабристы и к наукам; и в эту область культуры они внесли свой вклад. Особенно интересовали их общественные науки. А. А. Бестужев заявил на следствии: «По наклонности века наиболее принадлежал к истории и политике». Дошедшие до нас работы и высказывания декабристов в этой области (большинство этих работ не уцелели) говорят о самостоятельности и зрелости мысли; таковы исторические труды Н. М. Муравьева (о биографиях Суворова, об «Истории» Карамзина и др.), А. О. Корниловича (по истории России XVII и XVIII веков), Н. А. Бестужева, В. И. Штейнгеля и др. Имеются и не опубликованные до сих пор работы декабристов по истории (например, подробный план труда по истории французской революции И. Д. Якушкина). Выдающийся для своего времени труд по политической экономии «Опыт теории налогов» был выпущен в 1818 году Николаем Тургеневым. Михаилу Орлову принадлежит работа «О государственном кредите» (по поводу этой книги сохранились заметки Пушкина). Существуют также работы декабристов по философии, юридическим наукам, географии, военной истории, искусству. Но дело не только в том, что отдельным декабристам принадлежат те или иные произведения в

области литературы, науки. Для всего декабризма в целом было характерно стремление всемерно способствовать развитию русской национальной культуры во всех ее областях ⁴.

Прежде чем перейти к рассмотрению взглядов декабристов и Пушкина на задачи культуры, следует заметить, что само слово «культура» в пушкинское время еще не вошло в обиход: в то время это понятие заменялось термином «просвещение». В произведениях, статьях, письмах Пушкина слово «культура» ни разу не употребляется, но и для него слово «просвещение» означало совокупность достижений в различных областях знаний, в искусстве, в общественно-политическом устройстве.

И правительство и идеологи феодально-крепостнического строя всеми способами пытались задержать развитие прогрессивной русской культуры, препятствовать распространению ее среди народа, направить культуру по реакционному пути. Характерно, что само понятие «просвещение» искажалось приверженцами существовавших порядков. Для такого виднейшего идеолога консервативного дворянства, как Карамзин, просвещение — это «палладиум благонравия», «источник блаженства в собственной груди нашей», «лекарство для испорченного сердца и разума». Жуковский писал: «Что есть просвещение? Искусство жить, искусство действовать и совершенствоваться в том круге, в который заключила нас рука Промысла, — в самом себе находить неотъемлемое счастье». Академический словарь трактовал «просвещение» в следующем духе: «Наставление, очищение разума от ложных, предосудительных понятий, заключений». Само собой разумеется, что «ложными», «предосудительными» понятиями считалось все, так или иначе связанное с идеями ломки существовавших порядков, с борьбой за свободу. Между тем для декабристов и Пушкина понятия просвещения и политической свободы были неразрывно связанными ⁵.

Правые арзамасцы считали, что прогресс заключается в «постепенном ходе просвещения». Николай Тургенев придерживался противоположного убеждения: «Одно просвещение никогда не доведет до свободы... Напротив того, одна свобода неминуемо ведет к просвещению». И здесь же утверждалось, что истинный

патриотизм несовместим с признанием рабства. Эти его излюбленные мысли, беспрестанно повторявшиеся им в других письмах, в дневниках, были близки и Пушкину: в оде «Вольность» выражением подобных же идей явились строки о том, что рабство укрепилось «в сгущенной мгле предрассуждений», и призыв к «вольности святой». Не менее характерно и то, что в пушкинской же «Деревне» падение «рабства» рассматривается как условие «свободы просвещенной»⁶.

Как и декабристы, развитие культуры Пушкин всегда ставил в зависимость от политического устройства общества. Так, говоря о средневековой реакции в Европе, Пушкин писал: «Западная империя клонилась быстро к падению, а с нею науки, словесность и искусства. Наконец она пала; просвещение погасло. Невежество омрачило окровавленную Европу». В заметках по русской истории XVIII века (1822) о «народной свободе» говорится как о неминуемом следствии просвещения⁷. В этих же заметках разоблачается лицемерие Екатерины II, которая считалась в официозной историографии истинным другом просвещения. По ее адресу Пушкин иронически заключает: «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространявший первые лучи его, перешел из рук Шешковского * в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами, и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность». Успехи культуры в России Пушкин связывал лишь с деятельностью ее лучших, прогрессивных представителей. Так, он считал, что ученые и писатели должны быть передовыми борцами за прогресс. С гордостью писал он в этом смысле не только о Радищеве, но и о великой роли Ломоносова в истории русской культуры: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения... Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник».

Приведенные выше мысли Пушкина о просвещении находят полную аналогию в документах тайных обществ и высказываниях декабристов на эту тему. В уставе

* Домашний палач кроткой Екатерины. (Примечание Пушкина.)

«Союза благоденствия» указывалось: «Союз всеми силами попирает невежество, и, обращая умы к полезным занятиям, особенно к познанию отечества, старается водворить истинное просвещение». На необходимость борьбы за истинное просвещение обращалось внимание и в несравненно более революционном, чем «Союз благоденствия», «Обществе соединенных славян» в «правилах» которого мы читаем: «Богиня просвещения пусть будет пенатом твоим... почитай науки, художества и ремесла. Возвысь даже к ним любовь до энтузиазма и будешь иметь истинное уважение от друзей твоих». Эта пылкая, возвышенная любовь к русской культуре, стремление слить ее с борьбой за политическую свободу, поднять ее на новую, высшую ступень было характерно для всех передовых людей эпохи. И прав был М. П. Бестужев-Рюмин, когда он, говоря о составе тайного общества, с гордостью заявил: «Почти все люди с просвещением или к оному принадлежат, или цель его одобряют»⁸.

Как уже отмечалось, и Пушкин и декабристы ставили вопрос о развитии культуры в зависимость от политического строя и от борьбы за свободу. Написанный Рылеевым и оставшийся в его бумагах план сочинения «Дух времени или судьба рода человеческого» содержит раздел: «Человек от деспотизма стремится к свободе; причиною тому просвещение». Здесь отразилось свойственное декабристам просветительское понимание закономерностей исторического процесса; но крупным завоеванием декабристской общественной мысли был *политический* подход к проблемам просвещения⁹.

В определении задач борьбы за передовую культуру, как и в трактовке самого понятия «просвещение», Пушкин находился на уровне, которого достигла идеология декабризма. Он придерживался характерной для нее политической трактовки понятия и вместе с тем разделял слабость этой трактовки, которая заключалась в определенном преувеличении силы идей, могущества «общего мнения».

О единстве взглядов Пушкина и декабристов на вопросы просвещения свидетельствует, между прочим, письмо Николая Тургенева брату Сергею, где он рассказывает об одном своем разговоре с Пушкиным: «Мы на первой станции образованности», — сказал я

недавно молодому Пушкину. «Да, — отвечал он, — мы в Черной грязи». Черная грязь — это, как известно, одна из станций, о которой Радищев говорит в своем «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Здесь я видел так же изрядный опыт самовластия дворянского над крестьянами»¹⁰.

Понятия «образованность» и «истинная просвещенность» у декабристов не совпадали. Н. А. Бестужев писал: «Какая разность между ученым и просвещенным человеком? Та, что науки ученому делают честь, а просвещенный делает честь наукам». Образованной была и Екатерина, но Пушкин, как мы видели, отказывал ей в просвещенности, поскольку она была врагом какого бы то ни было свободолюбия и преследовала деятелей передовой культуры — Новикова, Радищева, Княжнина. Мнение всего передового поколения выразил декабрист П. Г. Каховский, сказав: «Страна та будет счастлива, где просвещение делается следствием свободы законной». Мысль о том, что *борьба* способствует расцвету культуры, что примирение враждебных сил, непротивление рабству, фанатизму, невежеству ведет к застою, прочно вошла в сознание передовых современников Пушкина. — «Горе стране, где все согласны! — восклицал Никита Муравьев. — Можно ли ожидать там успехов просвещения? Там спят силы умственные, там не дорожат истиною, которая, подобно славе, приобретается усилиями и постоянными трудами»¹¹.

Для передовых литераторов было очевидно, что вся система крепостнического государства в корне враждебна передовой культуре. Препятствия ее развитию явились одним из немаловажных факторов, которые вызвали рост революционного сопротивления реакционной политике царизма в целом. Так, литераторы-декабристы признавали в числе прочих побудительных мотивов вступления в тайные общества стеснительные условия для свободного развития русской литературы. Член Северного общества В. Кюхельбекер показал на следствии, что одной из причин его «неудовольствия настоящим положением было крайнее стеснение, которое российская словесность претерпевала в последнее время», подчеркивая при этом, что «такое до невероятия тягостное стеснение породило рукописную словесность»¹².

Но не только литераторы в своих показаниях значи-

тельное место уделяли положению литературы. Декабрист Якубович, говоря о том, что за «десять лет мирного спокойствия», прошедшие после войны, правительство Александра I ничем не содействовало прогрессу, отметил, в частности: «Изящные искусства не украсили отечество; но народная образованность значительно продвинулась вперед, и желание лучшего сделалось первым чувством каждого»¹³.

Глубочайшее возмущение препятствиями, которые царское правительство чинило развитию русской литературы, владело Пушкиным, когда он писал Вяземскому в 1823 году: «...стыдно, что благороднейший класс народа, класс мыслящий... подвержен самовольной расправе трусливого дурака (то есть цензора. — Б. М.). Мы смеемся, а кажется лучше бы дельно приняться за Бируковых; пора дать вес своему мнению и заставить правительство уважать нашим голосом — презрение к русским писателям нестерпимо; подумай об этом на досуге, да соединимся...» Считая, что притеснение писателей является одной из непосредственных причин роста недовольства правительством, Пушкин одно время даже опасался, что смягчение цензурного гнета может ослабить оппозицию правительству. «Хотелось мне с тобою поговорить о перемене министерства, — писал он Вяземскому в июне 1824 года. — Что ты об этом думаешь? я рад и нет. Давно девиз всякого русского есть *чем хуже, тем лучше*. Оппозиция русская, составившаяся благодаря русского бога из наших писателей, каких бы то ни было, приходила уже в какое-то нетерпение, которое я исподтишка поддразнивал, ожидая чего-нибудь». Эту же мысль он повторяет в письме к брату: «ожидая... перемены цензуры; а жаль... la coupe était pleine... * Это долго не могло продлиться».

Своим творчеством декабристы содействовали развитию передовой русской культуры и новой русской литературы, вождем и знаменем которой был Пушкин. Пушкин и декабристы боролись за новую эстетику, утверждавшую гражданскую роль искусства, и на писателя они смотрели как на вождя общественного мнения, выразителя самых передовых идей своего времени **.

* Чаша была переполнена (франц.)

** Подробнее об этом см. в разделе «Новый эстетический идеал».

Политическая программа декабристов, независимо от их взглядов на переустройство социального порядка, требовала отражения насущных проблем общественной жизни в литературе, пропаганды освободительных идей, борьбы за развитие национальной культуры в самом широком смысле этого понятия. Этим целям служили и литературные объединения, близкие к политическим тайным обществам декабристов. О значении этих объединений выразительно сказал А. Бестужев: «Чтения публичные в литературных обществах, возбуждая соревнование между молодыми писателями, *развивают и в публике вкус к родной словесности*. Нередко те, которые приезжают туда, возвращаются домой с *новыми понятиями и с полезнейшею охотою*». Эти многозначительные слова А. Бестужева в статье из «Полярной звезды» (1824) расшифровываются следующим его показанием следственной комиссии по делу декабристов: «В 1822 году... свел знакомство с г. Рылеевым, и как мы иногда возвращались вместе из общества Соревнователей Просвещ<ения> и благотво<рения>: то и мечтали вместе, и он пылким своим воображением увлекал меня еще более. Так грезы эти оставались грезами до 1824 года, в который он сказал мне, что есть тайное общество, в которое он уже принят и принимает меня». Конечно, далеко не все члены такого рода литературных объединений (и, в частности, того же литературного общества Соревнователей просвещения и благотворения) проделали подобный путь: для большинства «грезы» так и остались грезами, не претворившись в действие. Но несомненна агитационная роль этих объединений. Именно потому их организация и деятельность привлекали усиленное внимание тайных политических обществ 20-х годов¹⁴.

Направление деятельности литературного общества «Зеленая лампа», которое находилось под непосредственным влиянием «Союза благоденствия» и участие в нем Пушкина освещено в ряде литературоведческих работ. Еще П. Е. Щеголев отверг легенду об «оргиастическом» характере объединения и раскрыл его связь с пропагандистской программой тайного общества. Позиции «Зеленой лампы» были Пушкину несравненно ближе арзамасских. Показания председателя «Зеленой лампы» Я. Н. Толстого говорят о том, что из числа членов не

все были движимы «политическими видами». Стихи Пушкина, связанные с «Зеленой лампой», свидетельствуют о том, что он принадлежал к членам объединения, наиболее заинтересованным в политической его направленности¹⁵.

Семантика стихов, посвященных членам «Зеленой лампы», связана с семантикой всей вольнолюбивой лирики Пушкина. В послании «Юрьеву» мы читаем:

Здорово, рыцари лихие,
Любви, свободы и вина!
Для нас, союзники молодые,
Надежды лампа зажжена.

Эта же символика и в одном из наиболее революционных стихов Пушкина — «В. Л. Давыдову» (1821):

Ужель *надежды* луч исчез?

И позже, в послании, адресованном томившимся на каторге декабристам:

Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье... *

В пушкинских стихах воссоздана типичная для этого времени атмосфера, царившая на собраниях вольнолюбивой молодежи, где понятие политической свободы включало в себя и понятие личной независимости. «Младых повес веселая семья», поклонники «Вакха, муз и красоты» осознавали свой протест против «мертвой области рабов» как враждебность внешне благонамеренной, а по существу ханжеской этике «святых невежд», людей, у которых «холодом сердца поражены». Об этой атмосфере споров, стихов, восторженных тостов Пушкин говорил, что в ней не только царит неподдельное веселье, но и «ум кипит». Пушкин, который всегда искал возможности связаться с тайным обществом (как об этом свидетельствует И. И. Пущин), сохранил заинтересованность в судьбе деятелей «Зеленой лампы» и после своей ссылки на юг. К 1822 году, когда «Зеленая лампа» уже давно распалась, относится его письмо с стихотворением к Я. Н. Толстому («Горишь ли ты, лампада наша...»), где содержится горестный упрек: «Ты один из всех моих минутных друзей минутной молодости вспомнил обо мне.

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

Кстати или некстати два года и шесть месяцев не имею от них никаких известий». Чувства и мысли Пушкина, связанные с «Зеленой лампой», отражены также в его неосуществленном послании «Зеленой лампе», которое реконструировано С. М. Бонди на основе черновых автографов. Невнимание «лампистов» к опальному поэту — сомнения в том, что «лампа горит», — все это связывалось в сознании Пушкина с угрюмой тишиной, царившей «окрест», говорило ему о спаде оппозиционных настроений¹⁶.

В годы, когда Пушкин находился в ссылке, развертывала свою деятельность другая, несравненно более широкая организация, чем «Зеленая лампа», легальный декабристский литературный центр — петербургское Вольное общество любителей российской словесности. Идеиная направленность и его значение достаточно выяснены в литературоведении, и нет необходимости подробно на этом останавливаться. Вольное общество, состав которого вначале был пестрым, в 20-е годы завоевали литераторы-декабристы — Ф. Глинка, К. Рылеев, А. Бестужев, А. О. Корнилович и др. Вопреки консервативно настроенной части организации они использовали ее для обсуждения актуальных вопросов общественной жизни и литературы¹⁷.

Стремление связать литературу и политику характерно для литературных объединений и кружков, находившихся в сфере влияния тайных обществ и отдельных его представителей; в этом плане шли попытки перестроить «Арзамас»; этому была подчинена деятельность «Зеленой лампы» и намечавшегося под руководством Н. Тургенева Журнального общества — объединения, ставившего целью издание общественно-политического журнала для пропаганды конституционных и антикрепостнических идей.

В литературно-декабристских объединениях, так же как и среди литераторов-декабристов, встречались, повторяем, люди различных литературных вкусов и пристрастий. Но всем им была свойственна общность понимания высокой общественной роли искусства как одного из средств изменения существовавшего социального порядка. Все они с большей или меньшей последовательностью боролись против различных проявлений реакции в литературе, против всех тех направлений, которые ме-

шали развитию национальной русской литературы и отвлекали общественное внимание от актуальных вопросов политической жизни. Именно эта линия нашла свое выражение в изданиях 1820—1825 годов, находившихся в той или иной степени в сфере декабристских воздействий, — в «Соревнователе», «Сыне отечества», «Невском зрителе», в альманахах «Полярная звезда» и «Мнемозина». С формальной точки зрения только «Полярная звезда», издававшаяся Рылеевым и А. Бестужевым, может считаться органом, отражавшим литературную политику декабристов. Но фактически близки этой политике и в своей идеологической и литературной платформе в значительной степени все перечисленные издания. «Невский зритель» несомненно выражал позиции правого крыла «Союза благоденствия». В «Сыне отечества» 1819—1825 годах сотрудничал тот же круг писателей-декабристов и близких к ним людей. Наконец в «Мнемозине» В. Кюхельбекер (в явном противоречии со взглядами соиздателя альманаха В. Ф. Одоевского с его пропагандой немецкой идеалистической философии и эстетики) выступал против «германического» направления, за политическую, действительную роль литературы.

Пушкин принимал, в тех или иных формах, живое участие в этих организациях, журналах, альманахах. Лишь одно обстоятельство вызывает недоумение: отсутствие имени Пушкина в списке членов Вольного общества любителей российской словесности (в особенности если учесть, что председателем Общества был близкий знакомый Пушкина — Ф. Н. Глинка, а в состав Общества избирались не только известные, но даже и начинающие литераторы). Произведения Пушкина представлялись в Общество несколько раз Ф. Н. Глинкой и другими, читались на заседаниях, но избрания поэта в члены, которое обычно следовало за этим, в делах Общества не зафиксировано. Это можно объяснить только тем, что до ссылки Пушкина (1820) его приему как «политически неблагонадежного» противились правый фланг Общества и министерство народного просвещения, контролировавшее деятельность Общества (министр народного просвещения кн. А. Н. Голицын, — заклятый враг Пушкина, лично визировал дипломы вновь избранных членов). Когда же в руководстве Вольного общества оказались друзья Пушкина, о приеме поэта, находившегося

в ссылке, конечно, не могло быть и речи. Но имя Пушкина, его произведения фигурировали на заседаниях Общества, его произведения печатались и обсуждались в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения». На основании изучения архива Вольного общества установлено, что произведения Пушкина служили предметом оживленного обсуждения и острой борьбы и что в связи с высылкой поэта из Петербурга передовые члены Общества устроили своеобразную политическую демонстрацию¹⁸.

При изучении взаимоотношения взглядов декабристов и Пушкина иногда вольно или невольно преуменьшается влияние декабристов на поэта, их инициатива в выдвижении тех или иных актуальных проблем. Встречаются утверждения (например, в статье Н. Н. Степанова «Исторические воззрения Пушкина»), что Пушкин был не только «поэтическим вождем декабризма», но и «одним из выдающихся его идеологов»¹⁹. Конечно, источники мировоззрения Пушкина и декабристов были общими. Конечно, гениальность Пушкина позволила ему не только быть на уровне самых передовых идей времени, но и видеть слабые места в рассуждениях некоторых из его декабристских друзей. Однако говорить, что Пушкин был одним из «выдающихся идеологов декабризма», то есть деятелем, который разработал основные принципы декабристского движения, значит впадать в явное преувеличение. Декабристы многому научили Пушкина, а деятельность тайных обществ, многими каналами связанная с общественной жизнью России, оказала живое и плодотворное влияние на развитие мировоззрения поэта. Под влиянием декабристов складывались взгляды Пушкина на историю. Проблемы исторической традиции, связанные с национальной спецификой, с становлением национальной культуры, очень волновали декабристов. Отсюда понятен и тот интерес к изучению русской истории и отражению ее в литературе, который был свойствен декабристам и Пушкину.

С особой остротой вопросы изучения русской истории встали в 1818 году. В это время вышли первые восемь томов «Истории государства Российского» Карамзина. Позднее Пушкин писал: «Появление сей книги (как и быть надлежало) наделало много шума и произвело сильное впечатление. 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин)...

Все... бросились читать историю своего отечества... Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили» («Из автобиографических записок 1826 г.»).

«История» Карамзина представляла большой интерес прежде всего обилием фактического материала, занимательностью повествования. Но тогда же обнаружилось в обществе резкие расхождения в оценке принципов освещения Карамзиным русской истории.

Защитники самодержавия были от концепции «Истории» Карамзина в восторге. Наиболее умеренные из круга арзамасцев, даже и расходившиеся с Карамзиным в его беспредельной преданности самодержавию, считали ее крупнейшим политическим событием. А. И. Тургенев, пытаясь соединить несоединимые понятия, писал, что «История» Карамзина «послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического управления и, бог даст, русской возможной конституции»²⁰.

Иначе отнеслись к карамзинской «Истории» передовые политические круги. Пушкин писал в автобиографических записках о некоторых критиках Карамзина:

«Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие!.. Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале Истории не поместил он *какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян*, т. е. требовал романа в истории — ново и смело! Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие *спасительной пользы самодержавия*, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, *ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностию*, конечно, были очень смешны».

В чем же состояла критика Карамзина передовыми кругами? Никита Муравьев негодовал, что карамзинская «История» мирит «с несовершенством видимого порядка вещей как с обыкновенным явлением во всех веках», и писал по этому поводу: «Конечно, несовершенство есть неразлучный товарищ всего земного; но история должна ли только мирить нас с несовершенством, должна ли погружать нас в нравственный сон квиетизма? В том ли

состоит гражданская добродетель, которую народное бытописание воспламенять обязано? Не мир, но брань вечная должна существовать между злом и благом; добродетельные граждане должны быть в вечном союзе против заблуждений и пороков»²¹.

Подход Никиты Муравьева к изучению истории характерен для декабристского просветительства. Позже, в своем «Любопытном разговоре», он выдвинул свою философию истории, опять-таки просветительно объясняя происхождение угнетения: свобода была естественным состоянием человека, но одним «пришла несправедливая мысль господствовать, а другим подлая мысль отказаться от природных прав человеческих». И здесь же Муравьев проводит излюбленную декабристами мысль о том, что на Руси в древности правили «народные вечи» или «собрания народа». Хотя декабристы идеализировали древнюю Русь, не видели в ней противоречий, но самая мысль о том, что национальной традицией русского народа было свободолюбие, которое подавлялось чуждыми силами, — эта мысль была глубоко прогрессивной, враждебной всей концепции Карамзина. По убеждению Н. Муравьева, «размножение князей дома Рюрика, их честолюбие и распри, пагубные для отечества», способствовали торжеству «татар, выучивших наших предков безусловно покорствовать тиранской их власти». После падения татарского ига «предания рабства и понятия восточные» укрепили «власть беспредельную» московских царей, подражавших татарским ханам²².

Несколько иначе отнесся к труду Карамзина Николай Тургенев. Поскольку Пушкин в то время с ним встречался, его точка зрения представляет для нас особый интерес. Тургенев, который считал Карамзина «хамом» (то есть, по его терминологии, реакционером), положительно оценивал «Историю» за обилие фактического материала, но и он упрекал историографа за «пренечестивые рассуждения» о самодержавии. Итоговая оценка Тургенева такова: «Карамзин хорош, когда он описывает. Но когда примется рассуждать и философствовать, то несет вздор»²³.

Пушкин писал о реакции декабристов на «Историю» Карамзина в тоне осуждения: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рас-

сказом событий, казались им верхом варварства и унижения». Но в свое время Пушкин несомненно соглашался с «якобинцами». Об этом сам он рассказал: «Однажды начал он (Карамзин. — Б. М.) при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал: Итак, вы рабство предпочитаете свободе. Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником».

Пушкину принадлежит эпиграмма на Карамзина, в которой вскрывается самая суть политической концепции историографа:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Авторство Пушкина долгое время оспаривалось, но эпиграмма, как мы видим, вполне согласуется с тем, что рассказал сам Пушкин о своем споре с Карамзиным.

К спорам об «Истории» Карамзина после выхода ее в свет относится и следующая запись Пушкина:

«Где обяз<анность>, т.<ам> и закон.

Г-н Кар.<амзин> неправ. Закон ограждается стр.<ахом> нак<азания>. Законы нравственности, коих исполнение оставляется на произвол каждого, а нарушение не почитается гражданским преступлением, не суть законы гражданские».

Комментируя эту запись, Б. В. Томашевский указывает, что она связана с тем местом из «Истории» Карамзина, где утверждается необходимость самодержавия для России как «единственного устава государственного». Это место у Карамзина заканчивается сентенцией: «Самодержавие не есть отсутствие законов, ибо где *обязанность*, там и *закон*; никто же и никогда не сомневался в обязанности монархов блюсти счастье народов». Следовательно, и эта пушкинская запись подтверждает несогласие с монархической концепцией Карамзина²⁴.

Принципиальное новаторство пушкинского историзма и его полная противоположность карамзинской философии истории ярко проявились в «Борисе Годунове» (1825). В старом пушкиноведении считалось, что в своей трагедии Пушкин следовал взглядам Карамзина. Наше литературоведение убедительно отвергло подобные утверждения. В комментариях Г. О. Винокура к «Борису Го-

дунову» и в монографии Б. П. Городецкого этот вопрос подвергнут обстоятельному рассмотрению²⁵. Пушкин, по его собственному признанию, «в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашних времен». Именно под влиянием Никоновского списка летописи возник и первоначальный вариант заглавия «Бориса Годунова»: «Летопись о многих мятежах...» О том, что Пушкин, реализуя свой замысел, сразу же порвал с карамзинской трактовкой проблемы отношений между народом и царем, свидетельствует уже самая завязка трагедии. В «Истории государства Российского» трагедия Бориса ограничена «наказанием свыше» за преступный захват престола. По Карамзину, в характере Бориса сплелись религиозность и преступные страсти. В Борисе его интересовали главным образом черты общечеловеческие. Пушкин же, по собственному признанию, смотрел на Бориса с политической точки зрения. Версия о том, что Годунов был виновником убийства Дмитрия-царевича, отраженная в трагедии, помогла ему вскрыть в образе царя типичные для самодержца черты и, в частности, ненасытное стремление к самовластию.

В первом монологе Бориса раскрывается сначала трагизм его мироощущения:

Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе...
.....
Напрасно мне кудесники сулят
Дни долгие, дни власти безмятежной —
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет...

«Нечистая совесть» — это лишь одна из причин душевной тревоги Бориса. В монологе на первое место выдвинуты мотивы политические:

...Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье...

Крушение своих попыток заслужить любовь народа Борис объясняет тем, что «живая власть для черни ненавистна». Но в ходе трагедии показано, что отдельные щедроты не могут заслонить от народа деспотизм цар-

ской власти. Так возникает основной конфликт трагедии — конфликт самодержца и народа.

Борис во время голода отворил народу житницы, «сыскал работы», «выстроил им новые жилища», но он не пытался и не мог сделать главного — дать народу свободу. Вот почему, по словам Гаврилы Пушкина, достаточно Самозванцу

Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха.

Вот почему народ, который «всегда к смятенью тайно склонен», противостоит царю как грозная, враждебная сила. С глубокой проницательностью Пушкин показывает, что главная задача самодержца — «удержать смятенье и мятеж». Различные «благодаяния» и «щедроты» должны служить именно этой цели, а не прямой заботе об улучшении положения народа. Эта логика и приводит Бориса к тираническому умозаключению:

Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержатъ народ

Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро — не скажет он спасибо;
Грабь и казни — тебе не будет хуже.

Пушкин, оставаясь верным своему принципу сложного, многостороннего раскрытия характера, создает истинно трагическую, потрясающую сцену смерти Бориса. В начале предсмертного монолога перед нами любящий отец:

...чувствую — мой сын, ты мне дороже
Душевного спасенья...

Но далее вновь подчеркивается основная черта царя, стремившегося к деспотической власти и завещающего сыну свою тактику борьбы с мятежами. Этой тактикой и продиктован совет Бориса сыну:

...Я ныне должен был
Восстановить опалы, казни — можешь
Их отменить; тебя благословят,
Как твоего благословляли дядю,
Когда престол он Грозного приял,
Со временем и понемногу снова
*Затягивай державные бразды**.
Теперь ослабь, из рук не выпуская...

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

Вся пушкинская трактовка отношений между народом и царем противостояла господствовавшей тогда официально-монархической концепции русской истории.

Самодержавие и крепостничество чужды национальным традициям русского народа, позорят нацию — таков внутренний смысл выступления декабристов и Пушкина против Карамзина и апологетов реакционной исторической концепции. Карамзин считал национальной традицией русского народа, якобы сложившейся в ходе русского исторического процесса, смирение и покорность, народную преданность самодержавию как «единственную основу благоденствия». Декабристы и Пушкин считали традицией русского народа, ярко проявлявшейся в его многовековой борьбе, преданность родине и свободе. Спор об «Истории» Карамзина был, следовательно, спором о *национальных традициях*.

В суждениях декабристов сквозит стремление отделить в понятии национального то, что является прогрессивным, что отражает коренные интересы нации и обращено к будущему, от всего, что было направлено на закрепление отсталости России, ее начавшего дряхлеть феодального уклада. Именно поэтому декабристы требовали от писателей внимания к таким темам русской истории, которые помогли бы постичь подлинно русский национальный характер. Александр Бестужев в «Полярной звезде» призывал писателей изучать исторические повествования — песнь о полку Игореве, песнь о битве Донской и другие «древности нашего слова», «дабы в них найти черты русского народа»²⁶.

Пристальный, творческий интерес Пушкина к русской истории несомненно стимулировался прямым воздействием на него декабристов, ибо им принадлежит *инициатива* рассмотрения истории с точки зрения национальных традиций. И не случайно, что именно в период южной ссылки, когда Пушкин особенно тесно общался с декабристами, его исторические интересы по своему характеру входят в русло декабристских взглядов.

Особенно важным было общение Пушкина с В. Ф. Раевским. По воспоминаниям Липранди, последний «очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительнее историей и в особенности географией». Раевский в беседах с Пушкиным «утверждал, что в русской поэзии не должно приводить имена ни из

мифологии, ни исторических лиц древней Греции и Рима, что у нас и то и другое есть свое и т. п.». Из крепости, в 1822 году, тот же Раевский призывал Пушкина воскресить в своих произведениях прошлое русского народа именно в духе декабристского понимания национальных традиций:

.. Пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя-народа дух и нравы
И те священные времена,
Когда гремело наше вече
И сокрушало издалече
Царей кичливых рамена

Пушкин говорил Липранди, что Раевский «упорно хочет брать все из русской истории»²⁷.

Как уже неоднократно отмечалось, Пушкин под прямым воздействием Раевского стал работать над поэмой и трагедией «Вадим», желая в декабристском духе воспеть новгородскую свободу, «народ нетерпеливый», который был питомцем «старинной вольности»²⁸.

Другим декабристом, оказавшим несомненное влияние на развитие исторических интересов Пушкина, был М. Ф. Орлов, который, так же как и Раевский, был членом кишиневской группы тайного общества. Получившее огромный резонанс выступление Орлова в 1819 году в Киеве обличало реакционеров — врагов прогрессивной русской культуры: «Любители не древности, но старины, не добродетелей, но только обычаев отцов наших, хулители всех новых изобретений, враги света и стражи тьмы, они суть настоящие отрасли варварства средних веков... история наша полна их покушений против возрождения России». Во взглядах Орлова ценно внимание к экономическим вопросам исторического процесса, хотя и он просветительно объяснял крепостное право — только лишь как нарушение «природных прав человеческих»²⁹.

Разрабатывать темы из русской истории призывали Пушкина и другие декабристы. С. Г. Волконский писал ему в 1824 году: «Соседство и воспоминания о Великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова будут для вас предметом пиитических занятий — а соотечественникам вашим труд ваш памятником славы предков — и современника». Об этом же напоминал ему Рылеев в

1825 году. Мы не будем сейчас рассматривать расхождения Пушкина с декабристами по вопросу о принципах использования исторических фактов в художественном творчестве*, но важно отметить не только постоянное воздействие декабристов на Пушкина, но и их творческую инициативу. В поэзии 20-х годов первым обратился к русской истории Рылеев, печатавший свои «Думы» с 1821 года. С 1822 года началась активная деятельность декабристского историка Корниловича. В это же время Пушкин пишет своего «Вадима» и набрасывает заметки по русской истории XVIII века, которые справедливо оценены в советском литературоведении и исторической науке как яркое выражение декабристских взглядов на историю России³⁰.

Во взглядах Пушкина начала 20-х годов на историю сказались и слабые стороны, характерные для декабристов, выражавшие противоречия просветительской философии вообще: преувеличение роли «общего мнения», идеализация уклада древней Руси, непонимание классовой сущности общественных переворотов. Но вскоре в истолковании исторического процесса Пушкин оказался прозорливее многих своих декабристских друзей. Уже в Михайловском он, размышляя над объективными закономерностями исторического процесса, вступает на путь преодоления просветительского понимания хода событий только как воплощения сил «добра» и «зла». Самый же характер исторических тем, которые интересуют Пушкина, всегда остается чисто декабристским: это темы мятежей, восстаний, героических эпох и крупных потрясений, темы, выдвинутые декабристами и обоснованные в декабристской журналистике как единственно заслуживающие внимание и раскрывающие «истинный характер» народа.

В этом смысле и «Борис Годунов» — «повесть о многих мятежах» находится в русле декабристских исторических интересов, хотя Пушкин обнаружил здесь несравненно более глубокое историческое мышление, чем это было свойственно декабристам. Трагедия Пушкина имела и остро современное политическое звучание, но ее злободневность достигалась не системой иносказаний и намеков («аллюзий»), как это было свойственно декабрист-

* Об этом см. стр. 529—531.

ской романтической литературе, а иными средствами — путем реалистического раскрытия сущности исторических явлений. Ситуация, положенная в основу «Бориса Годунова», была в ряде основных моментов типичной для русской истории вообще. Типичным был, в частности, образ царя, взявшего престол преступным путем. Проблема «законности» царской власти, затронутая Пушкиным еще в лицейские годы, оживленно обсуждалась в 20-е годы среди декабристов и в околодекабристских кругах. Благодаря реалистической силе, с которой Пушкин раскрыл в «Борисе Годунове» сущность социально-исторических явлений, эта трагедия имела огромное познавательное значение для понимания закономерностей исторического процесса и сущности абсолютизма. Ведь объектом своей трагедии Пушкин избрал эпоху, которая была чревата решениями и событиями, имевшими значение для всего дальнейшего развития самодержавно-крепостнической России. Внутренняя политика Бориса Годунова, как известно, определялась целиком интересами основной массы дворянства: им были проведены мероприятия для дальнейшего и прочного закрепощения крестьян («заповедные лета», во время которых запрещался уход крестьян от одних господ к другим, пятилетний срок сыска беглых крестьян, установление крестьянской закрепощенности по писцовым книгам). Все это вызвало рост возмущения крестьян (в частности, восстание под руководством Хлопка, жестоко подавленное войсками Годунова, а затем, вскоре после его смерти, крестьянскую войну под руководством Болотникова).

Для раскрытия деспотизма, как неизбежного следствия абсолютистско-крепостнического режима, для показа того, что деспотизм со всеми его отвратительными проявлениями возникает даже независимо от тех или иных субъективных качеств личности государя, Борис Годунов был исключительно подходящей фигурой: в отличие от современных Пушкину самодержцев Александра I и Николая I он был очень образованным, умным и тонким политиком.

Проблема трагедии, с исторической верностью изображавшей прошлое, была в то же время глубоко современной и вследствие того, что типическими для самодержавия вообще были не только деспотические черты глав-

ного героя — царя Бориса, но и обстоятельства, в которые он действовал, — глухое недовольство и стихийный протест народа.

Проблема народа как субъекта истории в трагедии, конечно, не могла быть решена Пушкиным: время для этого еще не пришло. Но постановка этой проблемы здесь имеется. Знаменательны в этом отношении слова предка Пушкина:

Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помощью,
А мнением; да! мнением народным.

Сущность своего историзма Пушкин впоследствии определил в следующих словах: «Одна только история народа может объяснить истинные требования оного».

Как Пушкина, так и декабристов интересовала непосредственная связь исторических традиций народа с становлением национального сознания и национальной культуры. Эта проблема волновала еще деятелей «Зеленой лампы». В сохранившейся части архива этого кружка имеется ряд статей, посвященных истории России, «Список знаменитым людям российского государства», очерки об отдельных лицах (в частности, о Козьме Минине, о князе Игоре, о Федоре Волкове — «основателе и актере первого национального театра в России» и т. д.). Здесь же сохранился написанный рукой декабриста Сергея Трубецкого список сочинений, которые рекомендовались членам «Зеленой лампы» для изучения, преимущественно книги по национальной истории и литературе: «Пантеон российских писателей», «История Суворова» Фукса, «Деяния Петра Великого» Голикова, «Жизнь Петра Великого» Феофана Прокоповича и т. п., а также «иностранные лексиконы и истории». Рекомендуются для изучения также «всеобщие летописи и истории российские», «записки знаменитых путешественников по России», «периодические издания, где помещены жизнеописания славных мужей российских». Исторические занятия в «Зеленой лампе» были не только средством самообразования: по-видимому, результатом их должен был явиться исторический словарь русских деятелей. До нас не дошли сведения, на основании которых можно было

бы судить о степени участия Пушкина в этих занятиях *. Но о том значении, которое он придавал этой работе, говорит его замечание, сделанное в 1825 году: «...мы в биографиях славных писателей наших довольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка, да сами же потом и жалуемся на неведение иностранцев о всем, что до нас касается»³¹.

Очень тонко ставится вопрос о национальных традициях в «Письме к другу в Германию», сохранившемуся среди бумаг «Зеленой лампы» (автор, как установлено Б. Л. Модзалевским, — А. Д. Улыбышев). «Письмо» — это лишь условная литературная форма (оно имеет подзаголовок «О петербургском обществе»). Перед нами произведение, которое представляет собою настолько глубокое истолкование сложных вопросов развития национальной культуры, что с ним нельзя сопоставить ни одну из публицистических статей 20-х годов³².

Вопросы национальных традиций, национального характера, национальной самобытности рассматриваются здесь на фоне политической борьбы в русском обществе. Автор констатирует «большой раскол», существование «двух партий, которые находятся в своего рода войне». «Первые, которых можно назвать правоверными (погасильцами<?>), — сторонники древних обычаев, деспотического правления и фанатизма, а вторые — еретики, защитники иноземных нравов и пионеры либеральных идей». Позиции «правоверных» — «этих так называемых патриотов» — разоблачаются. Показана вся лживость их патриотизма. Их кумиры — «чины, кресты и ленты» — единственная цель существования, степень достоинства человека определяется ими табелью о четырнадцати классах **.

В числе признаков, характерных для «правоверных», отмечается националистическое презрение и ненависть к иностранцам и иностранной культуре, разговоры о «крайностях модного воспитания», о вреде заграничных

* С кругом интересов «Зеленой лампы» непосредственно связана статья Пушкина «Мои замечания об русском театре».

** Здесь же мы узнаем, что статья написана от имени человека, принадлежащего к низшему классу — «мелюзге»; с иронией рассказывается, что на приеме гостей у одного из «правоверных», он, в соответствии с этикетом, сидел за столом далеко от центра и получал от слуг только кости или совершенно пустые блюда.

путешествий, то есть темы, которые, как мы видели, были излюбленными у Шишкова и его сподвижников. В статье отмечается также крепостническая сущность нравов «правовверных» — «скифо-россов», — в доме которых прислуга многочисленна, плохо накормлена, плохо содержится.

Но отрицательное отношение автора статьи к реакционным националистам не означает, что его симпатии принадлежат «европейской части» высшего класса общества. В домах защитников иноземных нравов царит «французское изящество», «социальное равенство, которое отдает предпочтение только уму и любезности», но все, включая манеры и разговор, лишь «создает иллюзию, похожую на очарование», которое понемногу рассеивается. Пустота, холодность и сухость разговора, узость интересов, которые замыкаются карточной игрой и гастрономическими увеселениями, — такова характеристика этой части общества.

Какова же позиция самого автора по отношению к национальным традициям и к иноземной культуре?

Он четко отграничивает свои взгляды от позиций националистов, заявляет о своем высоком уважении к французам, отмечает «их живость, гений их воображения», «общительность», пишет о необходимости взять у других народов все, что является нужным и полезным для России, но протестует против слепого подражания иноземному и призывает сохранить лучшие черты национального своеобразия. Именно в этом смысл следующих строк «Письма»: «Сохрани боже, чтобы я хотел прославить старинные русские нравы, которые больше не согласуются ни с цивилизацией, ни с духом нашего века, ни даже с человеческим достоинством; но то, что в нравах есть оскорбительного, происходит от варварства, от невежества и деспотизма, а не от самого характера русских. Итак, вместо того чтобы их (то есть нравы. — *Б. М.*) уничтожить, следовало бы упросить русских не заимствовать из-за границы ничего, кроме необходимого для содействия нравов европейскими, и с усердием сохранить все то, что составляет национальную самобытность». А национальную самобытность автор видит и в costume, и в русских песнях, и в русской истории. Принцип национальной самобытности он считает основополагающим и в литературе и в театре.

Наконец большой интерес представляет попытка ав-

тора раскрыть источники национального своеобразия. В числе их называются лишь два: климат и образ правления; именно они «могут наложить на характер народа печать национальности». Но важно, что автор, следовательно, стоит на точке зрения объективной обусловленности «национальных качеств».

Мы остановились на «Письме к другу в Германию» потому, что оно является наилучшим показателем высокого уровня, которого достигла передовая русская мысль декабристского периода в разработке вопросов становления национальной культуры.

Для декабристов и Пушкина характерен широкий подход к вопросам развития самобытной русской культуры и понимание ее как части культуры мировой. Безгранично богатым был круг источников, которые изучали декабристы, вырабатывая свою точку зрения на важнейшие проблемы современности; здесь не только русские писатели и мыслители, но и вся мировая культура. Поистине все было мобилизовано в борьбе за новую Россию: Плутарх и Цицерон, французские просветители XVIII века, в особенности Руссо и Вольтер, западная политическая литература XIX века, Бенжамен Констан, Детью де Траси и многие другие, труды по политической экономии Сея, Адама Смита, Сисмонди, современная зарубежная журналистика. Передовое поколение с такой тщательностью следило за движением общественной мысли, что иногда иностранные книги становились в России более известными и доступными, чем там, где они были изданы. Об этом Каховский говорил: «Строгая цензура, со всеми способами полиции и таможни, никак и нигде не может остановить ни ввоза книг, ни внутренних сочинений, и стоит только какое сочинение запретить, то оно делается для всех интересным и даже писаное разойдется по рукам. Во Франции запретится книга, и в самом скором времени в России она явится». Но жадное освоение предшествующей и современной литературы не носило характера всеядности, а было критическим: отбиралось действительно ценное для сопоставления с опытом и потребностями русской жизни, отбрасывалось все чуждое «духу преобразования» и прогресса³³.

Богатейший материал на эту тему имеется в дневниках и письмах современников. Ограничимся только одним типичным примером.

В сентябре 1818 года Н. Тургенев записывает свои замечания по поводу книги мадам де Сталь о революции («*Considérations sur les principaux événements de la Révolution Française*») *. Он одобряет направленность книги против деспотизма, выраженную в ней «постоянную и пылкую любовь к свободе», защиту просвещения. Вместе с тем он осуждает те места книги де Сталь, где она, не сумев во время пребывания в России разобраться в тактике и облике Александра I, говорит об его «просвещенности и мудрости» и о «постепенном улучшении» порядков в стране. Через год Н. Тургенев возвращается к этой же книге мадам де Сталь по другому поводу, в связи с критикой ее реакционным французским публицистом виконтом де Бональдом. Он издевается над рассуждениями Бональда и защищает мадам де Сталь также и аргументами из русской жизни. Так, по поводу утверждения Бональда, что король ответствен только перед богом, Тургенев пишет: «И наши мужики могут жаловаться богу, но в том-то и беда, что они, кроме бога, никому жаловаться не могут» ** 34.

Типично для декабристов и Пушкина также и то, что они рассматривали события в России как звено в общей цепи мировых событий. В своих показаниях Пестель говорил о том значении, которое имели для мировоззрения передовых русских людей исторические перевороты начала XIX века, — процесс брожения, происходящий во всем мире «от Португалии до России, не исключая ни единого государства», в том числе «Англию и Турцию, сих двух противоположностей», и Америку ³⁶. В параллель этому можно было бы привести стихотворение Пушкина «Недвижный страж дремал на царственном пороге»

* Размышления о важнейших событиях французской революции (франц.).

** Любопытно и одно из критических выступлений Пушкина, связанных с мадам де Сталь. В 1825 году в «Сыне отечества» появилась статья А. М. (А. Муханова), содержащая грубые, недоброжелательные замечания об этой выдающейся представительнице французской литературы и публицистики. В ответ Пушкин напечатал в «Московском телеграфе» свои возражения Муханову. Пушкин встал на защиту мадам де Сталь и с одобрением упомянул ее книгу «Взгляд на французскую революцию». Свою статью он закончил словами: «Уважен хочешь быть, умей других уважить» ³⁵.

В письме П. А. Вяземскому по поводу этой же статьи Муханова Пушкин заметил: «M-me Staël наша — не тронь ее».

(1824), где в лаконичных строках дана широкая картина освободительного движения во всем мире:

Давно ли ветхая Европа свирепела?
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал.
За Пиренеями давно ль судьбой народа
Уж правила свобода,
И самовластие лишь Север укрывал?

Революционные восстания в Испании, Неаполе, Пьемонте вызывают у Пушкина и его современников живейший интерес, каждое крупное событие находит живую реакцию в самых разнообразных формах (вроде эпизода, когда Пушкин показывал в театре портрет Лувеля с надписью «Урок царям»). В литературных произведениях — статьях, стихотворных экспромтах, эпиграммах и т. д. — обличаются мракобесы и их пособники, которые негодовали по поводу каждой удаче в движении за свободу и радовались каждому успеху реакции. Вспомним, с каким возмущением обрушивался Пушкин на «льстеца», который, желая угодить царю, радовался казни испанского революционера Риго («Сказали раз царю...»). С сочувствием отнесся Пушкин и люди его круга к борьбе греков за независимость. Восторженное письмо Пушкина 1821 года о греческом восстании (повидимому, В. Л. Давыдову), его вдохновенное стихотворение, воспевающее героическую гибель грека в борьбе за национальную свободу — за «великое, святое дело» («Гречанка верная! не плачь — он пал героем...»), совпадают по настроению с откликами декабристов. И это движение Пушкин рассматривает в исторической перспективе, в связи с судьбами России, с современной политической обстановкой. О восстании греков он писал из Кишинева, что оно будет «иметь следствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы», а В. Ф. Раевский надеялся, что оно «пробудит... народный сон и гидру дремлющей свободы» («К друзьям в Кишинев»). Сознание того, что борьба за свободу объединяет народы различных стран, было одной из сильнейших сторон мировоззрения Пушкина и декабристов³⁷.

Декабристы понимали также, что и искусство, будучи национальным, вместе с тем объединяет человечество. «Гений красноречия и поэзии, гражданин всех стран...» — так говорил Александр Бестужев о художественном

творчестве в своем «Взгляде на старую и новую словесность в России». В другой статье — «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года» — он писал о важности переводов иностранных книг, совпадая с «законоположением» «Союза благоденствия» как в этом, так и в своей критике слепого подражания иноземному в ущерб национальной самобытности, в осмеянии тех, кто «невыпадал вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залезли в тридевятую даль по-немецки»³⁸.

Интересно ставит вопрос о соотношении мировой и русской литературы В. Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Он выступает за освоение, говоря современным термином, Россией всей мировой культуры, и (что очень важно) не только западноевропейской, но и народов Востока: «При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии наших писателей Россия ...могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии. Фирдоуси, Гафиз, Саади, Джами ждут русских писателей». Но далее Кюхельбекер предупреждает, что недостаточно «присвоить себе сокровища иноплеменников», ибо для славы России необходима «поэзия истинно русская», «песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности». Говоря о самобытности, он пишет: «Станем надеяться, что, наконец, наши писатели, из которых особенно некоторые молодые одарены прямым талантом, сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть русскими. Особенно имею в виду А. Пушкина, которого три поэмы, особенно первая, подают великие надежды». Здесь характерно, что Пушкин выделен как надежда национальной литературы³⁹.

Борьба с подражанием иноземному, за оригинальность и самобытность велась в это время и в других странах. Французский историк Лемонте, говоря о том, что подражание проявлялось и во французской, и в немецкой, и в других литературах, опровергал литераторов, которые «легкомысленно заключали по первым усилиям русских, что они способны только к подражанию». «Сколь ни молода их словесность, — заключал он, — но она не в меньшей мере соразмерности предоставляет собственных произведений, как и всякая другая». Обосновывая

тезис о национальной самобытности, русские критики учитывали также опыт литератур других народов. Вяземский, О. Сомов и другие литераторы прогрессивного лагеря, участвовавшие в разработке проблемы народного, национального, ссылаются на сочинения де Сталь, которая критиковала французский классицизм, указывая, что подражание античному противоречило самим принципам народности⁴⁰.

Интересно, что в русских журналах печатались статьи зарубежных критиков, где подымались вопросы, сходные с теми, которые выдвигались потребностями русской литературы. Эти статьи нередко приноравливались издателями к русским условиям, сопровождалась подстрочными замечаниями, — и одобрительными и критическими. В параллель к мыслям Пушкина о вреде, который принесло русской литературе подражание, можно привести суждения французских критиков, осуждавших в собственной литературе те же пороки. Так, например, в 1825 году в «Сыне отечества» была напечатана статья Арто из «Revue Encyclopédique» «О духе поэзии XIX века», где отчужденность французской литературы от народа объяснялась ее академизмом, «педантским подражанием и церемонным этикетом». Автор, подчеркивая значение Шекспира, при этом писал: «Дело не в том, чтобы подражать Шекспиру, но в том, чтоб сочинять сходно с духом нашего века, как сочинял Шекспир для своего. Будем ровесники нашему времени! Подражание не произвело ничего великого. Правила тащатся следом за гением, гений спрашивается только своих сил. От сего-то нет гениев без оригинальности, нет оригинальности без самобытности» (кстати, статья эта, возможно, переведена А. Бестужевым: в конце статьи пометка: «Пер. А. Б.»)⁴¹.

Повторяем, борьба с подражанием, за национальную самобытность, не снимала вопрос о взаимодействии и взаимном обогащении национальных литератур. Пушкин в 1822 году высказывал удовлетворение тем, что «английская словесность начинает иметь влияние на русскую», полагая, что оно будет полезнее влияния робкой и жеманной поэзии таких французских стихотворцев, как Флориан и Легуве, которых перепевали карамзинисты. В том же году Пушкин в конспективной заметке «О французской словесности» заканчивает критическое перечисление русских подражателей иноземной литературе

словами: «...есть у нас свой язык: смелее! — обычаи, история, песни, сказки — и проч.».

Взгляды Пушкина на все эти вопросы в своей основе совпадают с тем, о чём писали и думали декабристы. Мы уже говорили о том, что авторы многих работ о Пушкине доказывали, будто поэт еще в первой половине 20-х годов в своем идейном развитии опередил декабристов, и их роль в эволюции Пушкина невольно преуменьшается. Между тем факты биографии Пушкина с достаточной убедительностью подтверждают, что наиболее революционные его стихи относятся к периоду тесного общения с декабристами на юге России. Тогда он высказывал и самые острые суждения о самодержавии, о помещиках (вспомним хотя бы дышащие революционной страстностью разговоры Пушкина, которые приведены в дневнике его кишиневского знакомого Долгорукова). К этому же времени он распрощался с иллюзиями о возможности решительных изменений существующих порядков «по манию царя». Тогда же в стихотворении В. Л. Давыдову он выразил сочувствие революционным методам борьбы:

.. мы счастьем насладимся,
Кровавой чаши причастимся...

Не случайно в этом же стихотворении вспоминаются встречи в Каменке — одном из центров, где собирались декабристы. В это время Пушкин утверждал, что

Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

В стихотворении «Кинжал», воспевающим убийство Кесаря Брутом и подвиг Карла Занда, вместе с тем содержатся строки, оправдывающие Шарлотту Кордэ и, следовательно, внушающие мысль, что Пушкин не изменил свое отношение к французской революции XVIII века (ведь в оде «Вольность» о казни Людовика говорилось как о нарушении законности и действии «преступной секиры»). Но в действительности это изменение произошло. В письме Н. И. Тургеневу 1 декабря 1823 года Пушкин приводит в качестве «самых сносных строф» своего стихотворения «Наполеон» именно те строфы, в которых дана яркая положительная оценка французской революции:

Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир,
И галл десницей разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир;
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный —
Свободы яркий день вставал, —

Тогда в волненьи бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел.
В свое погибельное счастье
Ты дерзкой веровал душой,
Тебя пленяло самовластье
Разочарованной красой.

День, когда царский труп лежал во прахе, оценивается здесь как «день великий, неизбежный». Уничтожение же завоеваний французской революции рассматривается поэтом как порабощение народа, усмирение юной буйности. Стихотворение, написанное в 1821 году в Кишиневе, в период наиболее интенсивной работы кишиневской ячейки «Союза благоденствия» и деятельности масонской ложи «Овидий», читалось в доме М. Ф. Орлова. На усиление революционных настроений Пушкина влияли и политические события и вместе с тем та атмосфера тайных обществ, которая окружала поэта.

После переезда в Михайловское, когда непосредственное общение Пушкина с декабристами было прервано, первостепенное значение для изучения идейного влияния декабристов на Пушкина имеет его переписка с Рылеевым и А. Бестужевым. Письма вождя Северного общества были для поэта, оказавшегося в глухой ссылке, не только моральной поддержкой, но и постоянным напоминанием о гражданском долге, о необходимости следовать по однажды избранному пути. Прав Ю. Г. Оксман, который в своем комментарии к первому из дошедших до нас писем Рылеева к Пушкину отмечает: «Рылесв обращался к Пушкину не просто как собрат по перу, единомышленник и почитатель великого поэта, к тому же еще и едва знакомый с ним лично, а как вождь тайной организации, имеющий тем самым право рекомендовать Пушкину определенное политическое и литературное поведение». Действительно, оценка, которая дана

Пушкину в первом же письме Рылеева (около 6 января 1825 года), по своему тону и характеру весьма примечательна. В письме Рылеев обращается к Пушкину: «Я пишу к тебе: *ты*, потому что холодное *вы* не ложится под перо: надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям». При оценке значения Пушкина Рылеев говорит не только от своего имени. Поздравляя его с «Цыганами», он пишет: «Они совершенно оправдали наше мнение о твоём таланте. Ты идёшь шагами великана и радуешь истинно русские сердца». В письме упоминается и о том, что революционные патриоты ждали от Пушкина: «...ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы». Письмо это было привезено Пушкину в Михайловское Пушиным, и многозначительные слова Рылеева: «Пушин познакомит нас короче», — содержат безусловный намек на дополнительную информацию, которую нельзя было доверить даже письму, посланному с верной оказией⁴².

Сохранившиеся письма Рылеева и ближайшего друга его А. Бестужева к Пушкину говорят о том, что декабристы всеми силами стремились способствовать тому, чтобы своим творчеством поэт продолжал непосредственно служить общему делу — «русской свободе». Если сопоставить эти письма с письмами, которые одновременно писали Пушкину Жуковский и даже Вяземский, то мы увидим картину напряжённой борьбы за Пушкина, картину противоположных влияний, идущих из разных общественных лагерей, дифференциация которых усиливалась по мере обострения политического положения в стране.

Начиная с весны 1824 года, Жуковский и Вяземский усиливают нажим на Пушкина, уговаривая его изменить линию своего поведения по отношению к правительству, смириться. В конце мая 1824 года Вяземский пишет Пушкину: «Ты довольно сыграл пажеских шуток с правительством; довольно подразнил его, и полно! А вся наша оппозиция ничем иным ознаменоваться не может, que par des espiègleries *. Нам не дается мужествовать против него; мы можем только ребячиться. А всегда ребячиться надоест». Через несколько дней (1 июня) болес туманно,

* Как только проказами (*франц.*).

но в таком же «сдерживающем» духе пишет письмо Пушкину Жуковский. Когда же Пушкин, будучи сосланным в глухое Михайловское, пытался воспользоваться болезнью, чтобы выбраться из ссылки, друзья проявили полное непонимание его замысла. Жуковский вновь требует, чтобы Пушкин в корне изменил свой образ мыслей. Он уверяет, что теперешняя слава Пушкина «никуда не годится», что он должен «заслужить благодарность» (апрель 1825 года). И через несколько месяцев, вновь требуя «уняться», он же пишет о жизни Пушкина: «Она была очень забавною эпиграммою, но должна быть возвышенною поэмою» (август 1825 года). Особенно показательно в этом отношении письмо Вяземского, написанное 26 августа и 6 сентября 1825 года. Оно преисполнено советами и укорами: «Будь доволен... Попробуй плыть по воде: ты довольно боролся с течением... Без содрогания и уныния не могу думать о тебе, не столько о судьбе твоей, которая все-таки уляжется когда-нибудь, но о твоей внутренности, тайности!.. не сам ли ты частью виноват в своем положении?.. Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом». Вяземский требует, чтобы Пушкин не отвергнул «из упрямства и прихоти милости царской» (то есть издевательского разрешения Александра I на поездку в Псков для лечения)*. И, как бы в противовес Рылееву, который писал о великом значении Пушкина — гордости России, примере для всего молодого поколения, Вяземский заявлял: «...может быть, находишь людей, которые подтакивают твоим итогам, но и ты и они ошибаются. Пушкин по характеру своему; Пушкин как блестящий пример превратностей различных ничтожен в русском народе». И эту часть своего письма Вяземский заключает сравнением Пушкина с Дон-Кихотом и цитатой из Сумарокова:

Молола мельница, и что же молола? -- Ложь!..

Так зачеркивалось все, что было для Пушкина самым дорогим...

Из письма Жуковского, написанного Пушкину в сентябре 1825 года, явствует, что Жуковский знал об этих

* Пушкин понимал, что поездка в Псков даже ухудшит его положение, так как он там находился бы под непрерывным полицейским надзором (см. письмо Вяземскому от 13 и 15 сентября 1825 года).

словах Вяземского, полностью их одобрял. И вновь на-
зидание:

«Перестань быть эпиграммой, будь поэмой»⁴³.

Пушкин ответил Вяземскому в письме от 13 и 15 сентября лаконичными и резкими словами: «Нет, дружба входит в заговор с тиранством, сама берется оправдать его, отвратить негодование». А по поводу советов изменить свой образ жизни и свое поведение Пушкин писал: «Не демонствуй, Асмодей: мысли твои об общем мнении, о суете гонения и страдальчества (положим) справедливы — но помилуй... это моя религия; я уже не фанатик, но все еще набожен. Не отнимай у схимника надежду рая и страх ада». В этих строках каждое слово полно значения: и горькое напоминание о Вяземском — бывшем арзамасце Асмодее, и призыв «не демонствуй», безусловно связанный с строками пушкинского «Демона» о «зломном гении»:

Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел...

Твердо и определенно сказал Пушкин и о верности своим мечтам, ради осуществления которых он готов был подвергнуться любым испытаниям — «страху ада». Но в полной мере возмущение советами и укорами Вяземского и Жуковского Пушкин выразил (как это установлено Т. Г. Цявловской) в черновом наброске политической эпиграммы (чтение некоторых стихов предположительно)⁴⁴:

Заступники кнута и плети,
О знаменитые князя*,
За все жена моя и дети
Вам благодарны, как и я.
За вас молить я бога буду
И никогда не позабуду
Когда позовут
Меня на полную расправу
За ваше здравие и славу
Я дам царю мой первый кнут**.

* Вариант. «О благодетели мои».

** К аргументации Т. Г. Цявловской о направленности эпиграммы против Вяземского и Жуковского можно добавить и следующее соображение. Стихи «За ваше здравие и славу» являются явным откликом на назойливые рассуждения Вяземского и Жуковского о здравье и славе Пушкина в цитированных выше письмах к нему.

Естественно, что позиция, занятая Жуковским и Вяземским, отдаляла их в идейном отношении от Пушкина, и поэт еще больше сближался с декабристами.

Но изучать соотношение взглядов Пушкина и декабристов значит говорить не только о том, что не вызывало между ними разногласий, но и о том, что служило предметом споров. Атмосфера горячих дискуссий характерна для людей пушкинского круга. До нас дошло лишь немного материалов, которые дают возможность судить об этих спорах. Они свидетельствуют о том, с каким вниманием Пушкин относился к выступлениям соратников по литературной борьбе, с какой строгостью проверял основательность суждений и своих собственных и тех людей, с которыми общался. «Ошибаться и усовершенствовать суждения свои сродно мыслящему созданию. *Бескорыстное* признание в оном требует душевной силы», — писал Пушкин А. Бестужеву 24 марта 1825 года.

В переписке между Рылевым и Бестужевым, с одной стороны, и Пушкиным — с другой содержится полемика по ряду принципиальных вопросов, среди которых особенно важным был вопрос о независимом положении писателя.

А. Бестужев в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года» опровергал мнение, согласно которому малочисленность литературных дарований объясняется «недостатком ободрения». «Так его нет, и слава богу!» — восклицал Бестужев. Далее он иллюстрировал свою мысль примерами самоотверженной деятельности великих писателей, творивших в условиях гонений, нищеты или безвестности и тем не менее проявивших независимость. Отрицание официальных «ободрений», корыстных ласк меценатов, влияния света, богатства и связей — таково содержание этой части статьи Бестужева⁴⁵.

Казалось бы, что с рассуждениями Бестужева об «ободрении» Пушкин мог только согласиться: и в своих поэтических декларациях, и в своей творческой практике он проводил эти же идеи. Но в письме к Бестужеву (конец мая — начало июня 1825 года) Пушкин темпераментно защищал «ободрение». Он привел в примеры Державина, Дмитриева, «которые в *ободрение* сделаны министрами», напомнил, что «ободренными» были

Карамзин, Жуковский, Крылов, Гнедич (имея, очевидно, в виду, что все они получали пенсию: Жуковский — 4000 р., Карамзин — 2000 р., Крылов — 1500 р., Гнедич — 3000 р.).

Смысл этих столь странных на первый взгляд возражений Пушкина может быть понят только в том случае, если принять во внимание ситуацию, в которой он оказался. Как раз в этот период он прилагал все усилия для того, чтобы как-нибудь выбраться из Михайловского и всеми способами уговаривал друзей дать понять царю всю недопустимость своего положения изгнанника. «Из неободренных вижу только себя да Баратынского — и не говорю: слава богу!» — писал Пушкин в том же письме Бестужеву, подразумевая свою собственную судьбу и судьбу Баратынского как двух опальных поэтов. Выше мы видели, какое возмущение вызвали у Пушкина уговоры Вяземского и Жуковского быть довольным своим положением. На этом фоне *печатное* заявление Бестужева в альманахе, имевшем широкий резонанс, — «ободрения нет, и слава богу!» — было воспринято Пушкиным как совпадение в какой-то мере с успокоительными письмами Жуковского и Вяземского (хотя аргументация Бестужева была совершенно противоположной по своему политическому содержанию рассуждениям Вяземского и Жуковского на эту тему). Более правильным было бы, с точки зрения Пушкина, публичное обличение преследований писателей правительством. С другой стороны, Пушкин считал, что не следовало по тактическим соображениям заявлять в альманахе, известном своим вольнолюбием, о том, что отсутствие ободрения и преследования способствует росту протеста *. На это он намекал в письме к Рылееву: «Мне досадно, что Рылеев меня не понимает — в чем дело. Что у нас не покровительствуют литературу и что слава богу? зачем же об этом говорить? *pour réveiller le chat qui dort?*» ** Равнодушию правительства и притеснению цензуры обязаны мы духом нашей словесности». «Разбудить кота» — здесь означает навести правительство на

* «Порох на воздухе дает только вспышки, но, сжатый в железе, он рвется выстрелом и движет и рушит громады», — писал Бестужев ⁴⁶.

** Чтобы разбудить кота, который спит? (*франц.*)

мысль, что покровительством можно ослабить оппозиционные настроения в литературе.

Противоречивость этих рассуждений Пушкина очевидна. С одной стороны, он за «ободрение», правда подразумеваемая под этим создание условий, позволяющих писателю работать (такое ободрение, как утверждал Пушкин, не мешает писателю следовать по избранному пути: Вольтер написал «Орлеанскую девственницу» под покровительством Фридриха, «Тартюф» Мольера был защищен королем и т. д.). С другой стороны, он же считает, что отсутствие ободрения играет положительную роль, так как способствует оппозиционному духу литературы. Но какими бы ни были субъективные мотивы полемики Пушкина с Бестужевым и Рылеевым, более правы были они. Рылеев, присоединяясь в письме Пушкину к точке зрения Бестужева, писал: «Сила душевная слабеет при дворах и гений чахнет; все дело добрых правительств состоит в том, чтобы не стеснять гения; пусть он производит свободно все, что внушает ему вдохновение. Тогда не надобно ни пенсий, ни орденов, ни ключей камергерских». Но и сам Пушкин хорошо знал, что «гений чахнет» при дворах; именно таков один из мотивов его стихов о роли поэта, именно так он отнесся и к тому, что Жуковский стал воспитателем наследника⁴⁷.

Независимость русских писателей, отсутствие в русской литературе «печати рабского унижения» Пушкин объяснял тем, что «русские писатели взяты из высшего класса общества», «аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием». В связи с этим он упомянул и о себе как о шестисотлетнем дворянине. На это Рылеев отвечал: «Ты сделался аристократом; это меня рассмешило». И в другом письме: «Преимущества гражданских не должно существовать, да они для поэта Пушкина ничему и не служат ни в зале невежды, ни в зале знатного подлеца, не умеющего ценить твоего таланта... Чванство дворянством непростительно, особенно тебе». Переписка между Пушкиным и Рылеевым после этого письма (оно было написано за месяц до декабрьского восстания) если и продолжалась, то не сохранилась, и мы не знаем, как далее развивался спор⁴⁸.

Однако в спорах с Рылеевым и Бестужевым во многих вопросах Пушкин бывал прав. Он указывает на

слабость их позиции, на промахи и явные ошибки. Он критикует рецидивы сентиментализма в «Полярной звезде», где Бестужев, вступая в противоречие с своей собственной тенденцией — рассматривать литературу в связи с развитием общества, неожиданно заявлял, что «главнейшая причина» слабости литературы — «равнодушные прекрасного пола» к родному языку⁴⁹.

Возражение вызывает у Пушкина догматический подход Бестужева и Рылеева к проблеме жанров. Понятно желание декабристов в преддверии задуманного ими государственного переворота направить литературу только по одному руслу — восхваления гражданского подвига и, следовательно, выдвижения высоких жанров — оды, героической поэмы. Но несомненно более широкой и более соответствующей интересам развития русской литературы была точка зрения Пушкина, для которой литература больших мыслей и чувств была литературой многих, а не одних только «высоких» жанров. Точно так же защищая право художника на изображение прозы жизни (в споре об «Евгении Онегине»), Пушкин был более дальновиден, чем Бестужев, считавший, что делу борьбы за свободу служили в то время лишь произведения, в которых «мечта уносит поэта из прозы описываемого общества»*.

Пушкин отвергал также другие поспешные выводы и схематические построения Бестужева, не оправданные фактами литературного развития. Он указывает на принципиальную ошибку — отсутствие имени Радищева в обзоре русской словесности, напечатанном в «Полярной звезде» («Кого же мы будем помнить?» — многозначительно замечает Пушкин), критикует субъективные оценки Бестужевым некоторых писателей, не соглашается с утверждением: «У нас есть критика, а нет литературы». Состояние критики Пушкин оценивает с точки зрения ее руководящей роли в формировании «мнения в публике» и отсюда делает вывод о том, что критики еще нет. Наконец, убедительные опровержения концепции истории мировой литературы, предложенной Бестужевым в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года» содержатся

* О споре Рылеева и Бестужева с Пушкиным на эту тему см. ниже, стр. 565—568.

в письме Пушкина к Бестужеву (конец мая — начало июня 1825 года) и в его неоконченной полемической заметке на эту тему. Бестужев утверждал, что «словесность всех народов, совершая свое круготечение, следовала общим законам природы», что за «возрастом сильных чувств и гениальных творений» следовал век посредственности, удивления и отчета». Пушкин опровергает этот надуманный «закон», игнорирующий национальное своеобразие литератур, конкретными историческими фактами. Полное одобрение Пушкина вызывают лишь части статьи, посвященные защите национальной самобытности, обличающие страсть к подражанию, пороки воспитания⁵⁰.

Для выяснения как общности взглядов Пушкина и декабристов на литературу, так и различий между ними, особенно важно понять их трактовку вопросов, связанных с народностью литературы.

Выдвижение этой проблемы — большая историческая заслуга передового поколения декабристской эпохи. Буржуазные литературоведы объясняли возникновение проблемы народности лишь внутренним развитием самой литературы, то есть чисто идеалистически; необходимо было «обновить» устаревшие жанры, уничтожить «отживший классицизм» и т. д. Следствия рассматривались как причины. На деле причиной была сама действительность, изменения в общественном укладе, в политической жизни страны и в самой народной среде. Народные массы были в эту эпоху еще лишены идейной сознательности, отягчены патриархальными, в том числе царистскими, иллюзиями («Крепостная Россия забита и неподвижна», — писал об этом времени Ленин⁵¹). Но все же война 1812 года во многом пробудила народ, роль которого в решении судеб государства неизмеримо возросла. И нарастание антикрепостнических настроений в массах и появление людей, способных бороться за интересы народа (в той мере, в какой это могли делать дворянские революционеры), обусловили крупнейшее значение проблемы народности в литературе.

В разделе «Гроза двенадцатого года» были приведены факты, которые свидетельствуют не только о героизме русского народа, освободившем мир от наполеоновской деспотии, но и о новых чувствах и мыслях,

пробудившихся у патриотически настроенных просвещенных офицеров общением с солдатами — крестьянами в шинелях. Как ни далеки были даже передовые деятели дворянской культуры от народа, но тем не менее именно в 1812 году они вошли в непосредственное соприкосновение с народом, прониклись восхищением к его замечательным качествам и сочувствием к угнетенному положению крепостного крестьянства.

Беспримерный в истории героизм народа в Отечественной войне превосходил в сознании современников книжные, заимствованные из литературы образы и примеры героической доблести древнего мира. В 1813 году в журнале «Сын отечества» появилась характерная декларация: «С самых тех отдаленных времен, в которые Ксеркс с бесчисленным воинством нашел на Грецию, бытописание не являет еще ни единой брани, которая бы с большим достоинством, с большею славою продолжалась. Какое высокое, славное имя героев древности не найдет себе достойного соперника в продолжение войны сей, среди которой вера и любовь к отечеству возбуждала спартанскую храбрость в груди каждого русского поселянина?» Эту идею журнал развивает с энергией и последовательностью. В другом номере (также за 1813 год) по поводу итогов войны было, в частности, сказано:

«Мы удивляемся тем мужам древности, о которых история нам повествует, и часто сожалеем, что мы не современники их; но справедливо ли сие? Уступает ли сила русского характера мужеству древних греков и римлян, особливо в сию вечно памятную эпоху? Долг каждого сына отечества есть замечать и собирать все сии черты для составления потомству картины русских заслуг и добродетелей». Облик простого русского солдата восторгает современников войны 1812 года своими высокими моральными качествами. Тот же «Сын отечества» сетовал на недостаточность внимания к характеру тех, кто спас Россию от Наполеона:

«Отличной силы и духа простые воины часто теряются из виду в толпе своих товарищей; но сколь многие из них заслуживают отличия и предпочтения как по физическому сложению, так особенно по душевной их силе». С другой стороны, сохранились и свидетельства о том,

что общение с народом во время войны облагораживало передовую дворянскую молодежь:

«1812, 1813 и 1814 годы нас познакомили и сблизили с нашими солдатами, — вспоминал декабрист М. И. Муравьев-Апостол. — Все мы были проникнуты долгом службы... Каждый из нас чувствовал свое собственное достоинство, поэтому умел уважать его в других. Служба отнюдь не страдала от добрых отношений, установившихся между солдатами и офицерами. Единодушие последних между собою было беспримерное»⁵².

Сохранились также скупые, но выразительные свидетельства, говорящие о том, что представление о крестьянстве начала XIX века как о сплошной темной массе, не интересовавшейся вопросами общественной жизни, неверно. О влиянии Отечественной войны на политическое развитие солдат писали декабристы Якушкин, Завалишин, Розен и др. Характерен успех прокламаций, распространявшихся в Семеновском полку во время волнения. Из показаний солдат — участников восстания декабристов — мы узнаем, что некоторые рядовые находились в переписке с С. И. Муравьевым-Апостолом⁵³.

В. Н. Каразин в беседе с министром внутренних дел Кочубеем сказал: «Между солдатами есть люди весьма умные, знающие грамоте... Есть... и из дворовых весьма острые и сведущие люди; есть и управители, стряпчие и прочие из господских людей, которые за дурное поведение или за злоупотребление отданы в рекруты. Они, так как и все, читают журналы и газеты». Об уровне политических представлений в среде крепостного крестьянства почти не осталось фактических данных, но те, которые остались, весьма любопытны. Так, декабрист Митьков, передавая свои разговоры с крестьянами, пишет: «...в них столько здравых мыслей и истины в суждениях, что если только сообразоваться с их языком, то они скоро и легко поймут как права, так и обязанности свободного крестьянина»⁵⁴.

Пусть такого рода свидетельства немногочисленны. Но именно подобные факты давали основание наиболее левым элементам из оппозиционных кругов ставить вопросы о необходимости политического просвещения солдат.

В задачи просвещения декабристы включали также революционное просвещение, пропаганду освободительных идей. Эта пропаганда была рассчитана по условиям времени прежде всего на передовые круги дворянства, которые, по мысли декабристов, должны были добиться преобразования существовавшего строя и облегчить положение народа.

Программы декабристов заключали в себе требования ликвидации крепостного права и замены самодержавия республикой (а более умеренные программы — конституционной монархией). Конечно, классовая ограниченность дворянской революционности ставила непреодолимые преграды слиянию декабристов с народом, ибо основная тактика декабристов заключалась в том, чтобы бороться за благо народа, но без непосредственного участия народа как самостоятельной силы. И все же, повторяем, в своих наиболее передовых устремлениях декабристы отражали, пусть в урезанном виде, народные чаяния. Осуществление даже умеренных декабристских программ нанесло бы серьезное поражение феодально-крепостнической системе и объективно ускорило бы дальнейшее развитие борьбы за действительное и полное освобождение народа. Думы о народе, горячее желание видеть его просвещенным и свободным от цепей крепостничества — все это иногда приводило наиболее левых декабристов вопреки их классовой ограниченности к прямому обращению к народу с революционной проповедью. В таком духе действовали некоторые деятели Южного общества, Общества соединенных славян. Наиболее изучена пропагандистская работа основателя бессарабского ответвления тайного общества В. Ф. Раевского, в дивизии М. Ф. Орлова, 32-м егерском полку. В ланкастерской школе для рядовых солдат и в дивизионной школе для юнкеров Раевский разъяснял принципы конституционного правления, рассказывал о западноевропейских революциях и их вождях, о «правлении демократии» в древнем Новгороде. В 1822 году он был арестован за революционную пропаганду среди солдат и юнкеров дивизионной школы. К революционной пропаганде прибегал и С. И. Муравьев-Апостол. В его прокламации «Православный катехизис» были использованы в целях пропаганды даже религиозные предрассудки народа. Так, в ней доказывалось, что

«цари похитили свободу» и «поступают вопреки воле божьей». Попытки революционной пропаганды среди солдат предпринимались и другими декабристами. Их пропагандистская деятельность еще ждет тщательного изучения историков. Нелегальные политические стихотворения Пушкина имели для пропаганды декабристов первостепенное значение: они распространялись не только в кругах передового дворянства и офицеров, но проникали также и в среду «низших чинов» армии и даже простых солдат⁵⁵.

В этом ряду должны рассматриваться и известные агитационные песни Рылеева и Бестужева, обличавшие деспотизм самодержавия, говорившие о рабстве и нищете народа. В некоторых из них содержатся прямые призывы к народному восстанию, например в песне «Уж как шел кузнец».

В литературе о поэтах-декабристах обычно с излишней доверчивостью приводится следующее показание А. А. Бестужева следственной комиссии: «Сначала мы было имели намерение распустить их (агитационные песни. — Б. М.) в народе, но после одумались. Мы более всего боялись народной революции, ибо она не может быть не кровопролитна и не долговременна; а подобные песни могли бы оную приблизить. Вследствие сего, дурачась, мы их певали только между собою... В народ и между солдатами никогда их не пускали; это бы, кроме нравственного вреда нашей цели, могло скоро нас обнаружить, а осторожность была нашим девизом». Спору нет, декабристы боялись народного восстания, «новой пугачевщины». Но попытку Бестужева доказать, что агитационные песни, написанные им совместно с Рылеевым, остались только достоянием тайных дружеских пирушек, можно объяснить лишь желанием не усугубить ответственности перед царским судом. Конечно, в крепостной деревне эти песни не распространялись, но среди городского населения, а также среди солдат и матросов имели хождение. В воспоминаниях другого декабриста Н. А. Бестужева, мы читаем: «Хотя правительство всеми мерами старалось истребить сии песни, где только могло находить их, но они были сделаны в простонародном духе, были слишком близки к его состоянию, чтобы можно было вытеснить их из памяти простолюдинов, которые в них видели верное

изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем... Рабство народа, тяжесть притеснения, несчастная солдатская жизнь изображались в них простыми словами, но верными красками. В самый тот день, когда исполнена была над ними сентенция, и нас, морских офицеров, возили для того в Кронштадт, бывший с нами унтер-офицер морской артиллерии сказывал нам наизусть все запрещенные стихи и песни Рылеева, прибавя, что у них нет канонира, который, умея грамоте, не имел бы переписанных этого рода сочинений и особенно песен Рылеева»⁵⁶.

Из следственных дел декабристов известно, что агитационные песни Рылеева и Бестужева были переправлены С. Г. Волконским на юг, в район расположения Второй армии. Интересен и следующий факт. В неопубликованном дневнике А. И. Тургенева отмечено, что полиция запретила в Петербурге петь песню «Ох, тошно мне на своей стороне» (вариант романса Ю. А. Нелединского-Мелецкого). Это запрещение, как мы полагаем, явилось реакцией на распространение нелегальной антикрепостнической песни Рылеева и Бестужева «Ах, тошно мне и в родной стороне» (где первые две строки варьируют начало романса Нелединского-Мелецкого). Распространение агитационных песен в народе (как и попытки революционной агитации среди солдат, предпринимавшиеся отдельными декабристами), разумеется, не могли изменить характера декабристского движения как движения дворянских революционеров. Именно эта исторически обусловленная ограниченность и привела тогда к неудаче революционного переворота. Но самые попытки, пусть робкие и непоследовательные, расширения освободительной пропаганды, весьма примечательны⁵⁷.

В агитационных песнях затрагивались также темы, связанные с вопросами распространения просвещения в народе, обличались порядки, направленные на то, чтобы удержать народ в невежестве. В песне «Царь наш, немец прусский...» иронически отмечалось: «Школы все — казармы». В другой редакции этой же песни о царе говорится:

Враг хоть просвещенья,
Любит он ученье,

В песне «Ах, где те острова» выражена мечта о свободном общежитии, в котором «Магницкий молчит» *.

Любопытная агитационная песня декабристов обнаружена недавно:

Уж вы вейте веревки
На барские головки;
Вы готовьте ножей
На сиятельных князей;
И на место фонарей
Поразвешивать <царей>;
Тогда будет тепло
И умно, и светло.
Слава! ⁵⁸

В ней понятным для народа языком разъяснялась декабристами идея о необходимости уничтожения самодержавия как об обязательном условии распространения просвещения.

В период Отечественной войны и в послевоенные годы передовые люди эпохи видели, что между «просвещенными людьми» и народом существует пропасть. Это не могло не волновать их. Об отдаленности от народа, от народных обычаев, народного языка писал в своем партизанском дневнике Денис Давыдов. Не без горечи признавался он в том, что даже в русских офицерах крестьяне во время войны иногда подозревали неприятеля. Рассуждения Давыдова на эту тему весьма любопытны.

«Даже места, не прикосновенные неприятелем, немало представляли нам препятствий, — писал прославленный поэт-партизан. — Общее и добровольное ополчение поселян преграждало путь нам. В каждом селении ворота были заперты; при них стояли стар и млад с вилами, кольями, топорами, и некоторые из них с огнестрельным оружием. К каждому селению один из нас принужден был подъезжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли на помощь к ним и на защиту православной церкви. Часто ответом нам был выстрел или пущенный с размаху топор, от ударов коих судьба спасала нас. Мы могли бы обходить селения, но я хотел

* Не все агитационные песни писались с учетом возможности их широкого распространения. Эта песня, где упоминается, кроме реакционера М. Л. Магницкого, писатели Греч, Булгарин, Измайлов, рассчитана на узкую аудиторию.

распространить слух, что войска возвращаются, утвердить поселян в намерении защищаться и склонить их к немедленному извещению нас о приближении к ним неприятеля, почему с каждым селением продолжались переговоры до вступления в улицу. Там сцена переменялась: едва сомнение уступало место уверенности, что мы русские, как хлеб, пиво, пироги подносимы были солдатам. Сколько раз я спрашивал жителей по заключении между нами мира: «Отчего вы полагали нас французами?» Каждый раз отвечали они мне: «Да, вишь, родимый (показывая на гусарский мой ментик), это, бают, на их одежду схоже». — «Да разве я не русским языком говорю?» — «Да ведь у них всякого сбора люди!» Из всего этого Денис Давыдов делал выводы весьма и весьма примечательные: «Тогда я на опыте узнал, что в народной войне должно не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней и в обычаях...»⁵⁹

Резкий разрыв между умонастроениями, языком, обычаями дворянства и народа с великой скорбью отмечен Грибоедовым в его «Загородной поездке». Говоря о классе дворян как «поврежденном классе полуевропейцев», он далее продолжал: «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами». «Народ единокровный, наш народ разрознен с нами, и навеки», — пессимистически восклицал Грибоедов. Определение «класс полуевропейцев» с художественным блеском раскрыто в «Горе от ума», произведении, в котором с такой яркостью отстаивается национальная самобытность⁶⁰.

Все это имеет прямое отношение к проблемам национальной культуры. «Разрозненность», разобщенность сословий является характерной чертой феодального уклада. Борьба за общность сословий — особенность складывающегося буржуазного общества. Конечно, «общность» не означает гармонию различных классовых интересов. Классовая борьба (в том числе в области культуры) при капитализме входит в новую фазу именно вследствие новых, более тесных, хотя и антаго-

нистических отношений между трудящимися и имущими, отношений, при которых противоположность интересов труда и капитала обнаруживается с полной ясностью и определенностью. В период, когда буржуазные преобразования являлись исторически прогрессивными, когда поборники этих преобразований отражали народные интересы, требование общности сословий было большим шагом вперед в общественном развитии и служило формированию национального самосознания. Этот процесс происходил в России в условиях движения революционеров-декабристов и стихийного крестьянского протеста, что придавало лозунгу народности особые черты.

Естественно, что в такой исторической обстановке проблемы народности не могли не волновать Пушкина. Он посвящает этому вопросу статью «О народности в литературе» (1825), оставшуюся в рукописи. Статья начинается с признания путаницы, которая содержалась в трактовке понятия народности. Он отмечает, что хотя разговоры о народности вошли в обыкновение, «никто не думал определить, что разумеет он под словом народность». Далее он возражает критикам, которые полагают, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории. Действительно, этот признак народности выдвигался в 20-е годы в качестве определяющего; о нем говорили и литераторы декабристского лагеря — Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер, Катенин. Пушкин отвергает этот критерий, прибегая, как обычно, к языку фактов; он напоминает, что в «Отелло», «Гамлете», «Мера за меру» и других произведениях Шекспира, в произведениях Кальдерона, Ариосто, Расина сюжеты взяты отнюдь не из отечественной истории, но «мудрено, однако, у всех сих писателей оспаривать достоинство великой народности». Здесь Пушкин вспомнил и предисловие Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану», где критик, пропагандируя народность, отрицал ее в эпических поэмах Ломоносова и Хераскова и в то же время признавал народной трагедию Озерова «Дмитрий Донской». Против этого Пушкин протестовал в своей статье. Соглашаясь с Вяземским, что «кроме имен» в «Россиаде» и «Петриаде» нет ничего народного, Пушкин спрашивал: «Что есть народного в Ксении (из трагедии Озерова. — Б. М.), рассуждающей шестистопными

ямами о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия?»

По сравнению с взглядами критиков 20-х годов на проблему народности, в том числе А. Бестужева и Кюхельбекера, взгляды Пушкина отличались несравненно большей глубиной, четкостью и последовательностью. Бестужев и Кюхельбекер главными критериями народности считали борьбу с подражаниями иноземному и обращение писателя к темам и материалу русской действительности (преимущественно историческому). «Безнародность», согласно Бестужеву, — это «удивление только к чужому». Отсюда, по контрасту, конструируется понятие народности, основами которой является «богатое, неисчерпанное лоно старины и мощного свежего языка». «Вот стихия поэта», — восклицает Бестужев, говоря о задачах создания самобытной литературы. Примерно таков же и ход мыслей Кюхельбекера в его статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Пушкин был согласен с критикой слепого подражания иноземному, он в неоконченной заметке 1824 года «О причинах, замедливших ход нашей словесности» продолжал мысль Бестужева об увлечении французским языком и пренебрежении языком родным как одной из причин, замедливших «ход нашей словесности». Но для Пушкина *решающим* критерием народности был *угол зрения* писателя, отражение им специфических особенностей национального характера. В самом деле, ведь против подражания иноземному, за обращение к историческим темам, за русский язык ратовали (разумеется, демагогически) и реакционные националисты, сподвижники Шишкова, чуждые национальной культуре. Выступлений против самобытности, в защиту подражателей в журналах первой четверти XIX века попросту не было: борьба велась по вопросам содержания национальной культуры и ее формы. В этом направлении и шли попытки Пушкина определить народность: главное в народности — это умение писателя воспроизвести неповторимое своеобразие народа как результат совокупности объективных исторических признаков. Эти признаки Пушкин и пытался суммировать в следующем определении: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в

зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу»⁶¹.

Отдельные элементы этой формулы мы встречаем в современной Пушкину критике. На «веру праотцов», «нравы отечественные» (наряду с летописями, песнями и сказаниями народными) указывает Кюхельбекер как на «вернейшие источники нашей словесности». Об «отпечатке не только народа, но века и места» как о признаке «образцовых дарований» упоминали Бестужев, Вяземский. Ближе других к пушкинскому пониманию народности подошел связанный с декабристами литератор О. Сомов в статье «О романтической поэзии» (1823). Отличительные качества народной поэзии Сомов видит в «духе языка, в способе выражения», в свежести мыслей, в нравах, наклонностях и обычаях народа. Но эти элементы народности не были осмыслены критиками как некое единство, а в творческой практике поэтов-романтиков оказывались лишь средствами расцветивания художественного творчества «местными красками», простонародными выражениями и оборотами, образами народной фантастики, картинами природы и т. д. (именно исходя из этой мерки, Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии» утверждал, что «печатью народности» ознаменованы во всей русской поэзии лишь некоторые места в «Светлане» Жуковского, некоторые мелкие стихотворения Катенина, два или три места в «Руслане и Людмиле» Пушкина). Такой широкой постановки вопроса о народности, как в статье Пушкина, в критике тех лет не было. Пушкин понимает народность как национальное своеобразие («особенную физиономию народа») ⁶².

Возникает, однако, вопрос, кто является носителем этого своеобразия, что подразумевается в понятии «народ»?

В критике и публицистике того времени, затрагивавшей проблемы национальной культуры, четкости в трактовке понятия «народ» не было. Но замечательно, что у представителей передовой общественной мысли под понятием «народ» подразумевалась преобладающая часть общества, различные сословия, противостоявшие феодальной аристократии. С таким пониманием народа мы встречаемся в самом выдающемся документе той эпохи —

«Русской правде» Пестеля. В нем указано, что в народе имеется «до двенадцати» различных сословий, в числе которых дворянство, купечество, мещанство, крестьяне и т. д. «Отличительная черта нынешнего столетия ознаменовывается явною борьбою между народами и феодальной аристократией, во время которой начинает возникать аристократия богатств, гораздо вреднее аристократии феодальной». Таким образом, в состав народа входит и дворянство (исключая, по терминологии Пестеля, «закосневших в своих враждебных противу массы народной предрассудках») ⁶³.

В условиях феодально-крепостнической России начала XIX века такая постановка вопроса носила явно прогрессивный и даже революционный характер, так как была основана на буржуазно-демократической идее равенства сословий. Но в идеологической системе декабристов «простой народ» — крестьянство, — которое было главным носителем специфических особенностей национального характера, еще не заняло своего места. Поэтому несколько расплывчатым, нечетким было и употребление самого термина «народ».

Как соотносится декабристская трактовка понятия «народ» (которая нашла выражение не только в «Русской правде» Пестеля, но и во многих произведениях декабристов) со взглядами Пушкина на народность литературы? Его статья о народности не дает материала для ответа на этот вопрос, но в других статьях он затрагивается непосредственно.

На первое место здесь следует поставить замечательнейшую статью Пушкина «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825). Изданием на французском и итальянском языках басен Крылова с предисловием Лемонте Пушкин воспользовался как поводом для изложения своих взглядов на основные вопросы национальной культуры и литературы. Именно в этой статье Пушкин, касаясь проблемы народности, не только имеет в виду народ в смысле народной массы, но и впервые ставит вопрос об антинародном, растлевающем влиянии на литературу аристократических верхов общества и двора. Лемонте в своем предисловии заметил, что исключительное употребление французского языка в образованном кругу русского общества способствовало тому, что русский язык, обслуживавший «про-

стонародные нужды», невольно сохранил свежесть, простоту и чистосердечность выражений. Пушкин подхватил эту мысль и придал ей острое социальное содержание. По мысли Пушкина, исключительное употребление французского языка русской аристократией и ее равнодушие к родной литературе имело и свою положительную сторону: аристократия тем самым не могла оказывать вредное влияние на «язык и словесность». Свою мысль Пушкин иллюстрирует примерами из французской литературы: он напоминает, что придворные Людовика XIV напудрили и нарумянили «Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля», что аристократический салон навел холодный лоск вежливости на произведения писателей XVIII века. К этому положению Пушкин возвращался неоднократно. В частности, в 1834 году, в статье «О ничтожестве литературы русской», он отметил наднациональный характер литературы, опутанной покровительством двора Людовика XIV*, и заключил: «Отселе вежливая, тонкая словесность, блестящая, аристократическая — немного жеманная, но тем самым понятная для всех дворов Европы — ибо высшее общество, как справедливо заметил один из новейших писателей, *составляет во всей Евр<one> одно семейство*»**. Таким образом, и аристократия и ее литература характеризовались как совершенно чуждые народу и лишённые национального своеобразия⁶⁴.

В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» Пушкин назвал Крылова представителем духа русского народа. Это мнение Пушкина совпадало с отзывами литераторов-декабристов — Бестужева, Кюхельбекера, но вызвало резкое возражение Вяземского, который по этому поводу писал: «...что такое за представительство Крылова?.. Как ни говори, а в уме Крылова есть все что-то лакейское». Вяземский считал возможным именовать представителями русского народа Державина, Потемкина, пушкинскую же характеристику Крылова назвал ошибкой, а в государственном отношении

* Любопытно, что Пушкин в данном случае по существу повторяет мысль Рылеева и Бестужева о вреде покровительства («ободрения») и приводит те же примеры, что в полемическом письме к Рылееву в 1825 году (Мольер, Расин), но уже не для доказательства необходимости «ободрения», а с обратной целью.

** Подчеркнуто мною. — Б. М.

даже «преступлением de lèse-nation» *. Пушкин в ответном письме Вяземскому отшучивался: он, по-видимому, считал, что переубедить его невозможно. Спор имел свою историю. Пушкин еще в 1824 году упрекал Вяземского в том, что он унижает «нашего Крылова». Точка зрения Пушкина совершенно ясна. Он считал, что Крылов в своем творчестве отражал существенные особенности русского национального характера. «Отличительная черта в наших нравах, — пишет Пушкин, мотивируя свою оценку, — есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» ⁶⁵.

В постскрипуме к своей статье Пушкин отметил ошибочность сопоставления Крылова с Карамзиным. Это краткое замечание было понятно лишь тем, кто читал предисловие Лемонте, где о роли Карамзина и Крылова в развитии русского языка говорится: «Первый из них возвышает ту часть сего языка, которая прилична достоинству истории, второй изощряет в нем то, что способно к описанию нравов. Можно сказать, что г. Карамзин дает избираемым словам грамоты на благородство, а г. Крылов наделяет слова своего выбора патентами на ум». Сближение Крылова с Карамзиным Пушкин охарактеризовал как «ни на чем не основанное» ⁶⁶.

Здесь же Пушкин по-новому связывает вопрос о языке литературы с проблемой народности. В статье «О народности в литературе» он в отрицательном смысле упомянул критиков, которые «видят народность в словах, т. е. радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения». Пушкин отказывался видеть в языке *источник* народности литературы и дал в статье «О предисловии г-на Лемонте» точное определение языка как «*материала словесности*». Концепция развития русского языка, которую кратко, но с гениальной глубиной сформулировал Пушкин, прямо противоположна той, которую изложил в своем предисловии Лемонте. Принимая отдельные замечания Лемонте, Пушкин подверг критике его мнение о том, что владычество татар повредило развитию русского языка. Началами улучшения каждого языка, как утверждал Лемонте, являются «употребление его в высшем обществе и труды ученых».

* Оскорбление нации (франц.).

Свою крайне произвольную характеристику развития русского языка Лемонте заключил словами: *«Такова стихия, данная русским для сообщения их мыслей»*. Пушкин же пишет в своей статье, что сущность процесса развития русского языка заключается в *слиянии простонародного и книжного языка* и подчеркивает, полемически используя слова Лемонте: *«Такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей»*⁶⁷.

Как отмечает академик В. В. Виноградов, Пушкин был в эту эпоху «в области русской языковой культуры бесспорным ее руководителем... Пушкинское творчество разрешило все основные спорные вопросы и противоречия, возникшие в истории русского литературного языка допушкинской эпохи и не устраненные литературной теорией и практикой к первому десятилетию XIX века». Эти слова можно распространить и на роль Пушкина в борьбе вокруг споров, связанных с развитием русского литературного языка⁶⁸.

Уже отмечалось, что никогда борьба по вопросам о судьбах русского литературного языка и его основах не достигала такой остроты, как в первой четверти XIX века.

В начале XIX века в России дворянская аристократия, оторвавшаяся от народа, стремилась использовать язык в своих интересах, пыталась всячески воспрепятствовать тому, чтобы литературный язык служил орудием борьбы за разрушение феодально-крепостнического строя. С этой целью космополитические круги дворянства стремились утвердить в литературе своей салонный жаргон и засорить русский язык иностранными словами, обеднить его словарный состав, исказить правильное понимание важнейших терминов. Другая группа реакционного дворянства — националистическая, возглавляемая Шишковым, — пыталась утвердить в качестве литературного языка книжный церковнославянский, тем самым выступая против «общепонятности» (Пушкин) и желая воспрепятствовать обновлению словарного состава русского языка.

Подобные попытки нельзя, разумеется, квалифицировать как создание особого дворянского языка. В конечном счете это были бессильные потуги заменить могучий, богатый, русский общенародный, национальный язык жаргоном «для немногих». Несомненно, что все эти

попытки были направлены против национально-самобытной русской культуры (формой которой является национальный язык) и мешали демократизации литературы. Поэтому против подобных попыток решительно восстали передовые силы русского общества.

В старой историографии борьба противоположных линий развития русского литературного языка рассматривалась обычно как борьба «Беседы любителей русского слова», возглавленной Шишковым, и Карамзина с его сторонниками. Карамзин, таким образом, признавался основателем «нового слога», то есть реформатором, обозначившим новую эпоху в развитии русского языка, непосредственным предшественником Пушкина.

Было бы неверным отрицать прогрессивную роль Карамзина в приближении языка литературы к разговорной речи. Эту роль Карамзин безусловно сыграл, хотя политические взгляды его и были реакционными. Наиболее объективная оценка роли Карамзина в развитии языка была дана Белинским, который писал:

«Он преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжелой славянщины и приблизив к живой, естественной, разговорной русской речи...» И в другом месте: «Погрешность его в сем случае та, что он презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источников». «Язык самого Карамзина, — говорит Белинский, — далеко не русский (в смысле ненародный. — Б. М.): он правилен, как всеобщая грамматика без исключений и особенностей, лишен руссизмов или этих чисто русских оборотов, которые одни дают выражение и определенность, и силу, и живописность»⁶⁹.

Роль, которую сыграл Карамзин в развитии русского литературного языка, была исторически полезной, но узкой, ограниченной только небольшим отрезком времени, и уже с появлением первого большого произведения Пушкина «Руслан и Людмила» это обнаружилось с полной очевидностью. Сыграв прогрессивную роль до появления Пушкина, Карамзин в дальнейшем оказался в стороне от основной линии развития русского литературного языка. Это подтверждается прежде всего отношением Карамзина к народной речи. Язык народа не признавался им источником и основой русского литературного языка. Девиз Карамзина — нужно писать так, как

говорят, — по существу был ограничен именно по отношению к языку народа. Этот девиз подразумевал приоритет аристократического дворянства в установлении норм русского языка на основе вкусов именно этой группы. Устная народная речь не только третировалась за «грубость», но народу вообще отказывалось в «умении говорить» (соответственно представлениям верхушки дворянской аристократии). Любопытно, что в своих куплетах для «Сельской комедии» Карамзин вкладывал в уста земледельцев следующие признания:

...Мы счастливы,
Славим барина-отца,
Наши речи некрасивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане нас умнее:
Их искусство — говорить,
Что ж умеем мы? Сильнее
Благодетелей любить! ⁷⁰

В полном единении с такого рода оценкой умения народа «говорить» находятся и следующие слова карамзиниста И. И. Дмитриева: «Какое же удовольствие найдет благовоспитанная девица, слушая ссору однодворца с его женою, брань дурака с дуροю, которых каждое слово несносно для нежного слуха?.. Какая вообще нужда знатнейшей части публики... знать, что происходит в трактирах, на сельских ярмарках и в хижине однодворцев, которые известны только их старостам и управителям? У них свои обыкновения, свои предрассудки и свои пороки». Слова Дмитриева интересно сопоставить с утверждением Пушкина о том, что на ярмарках следует учиться писателю «простонародному наречию», что московские просвирни «говорят удивительно правильным и чистым языком» ⁷¹.

Жеманность, манерность, сглаженность, обесцвеченность, бедность языка карамзинистов, крайне ограниченное использование словарного состава русского литературного языка, засоренность иностранными словами и оборотами оказывали отрицательное влияние на русскую литературу 10—20-х годов. Свое отношение к языку они пытались превратить в *норму* для всей русской литературы. Линия Карамзина в развитии русского литературного языка вела к сужению круга читателей до узкого круга дворянства. И в то же время линия Кры-

лова, Грибоедова, Пушкина вела к дальнейшему расцвету русского литературного языка и развитию русской литературы по реалистическому пути.

Пушкин сыграл гигантскую роль в истории русского литературного языка именно потому, что он явился выразителем самых передовых общественных сил своего времени, сыном своей эпохи.

Огромное значение в борьбе с антинародными позициями дворянской аристократии в вопросе о путях развития русского языка имели Отечественная война 1812 года и декабристское движение. В ходе войны для передовых слоев дворянства со всей очевидностью обнаружилась враждебная народу сущность и вред аристократического, салонного жаргона. Борьба за широкое распространение и развитие национально-самобытного русского литературного языка нашла яркое отражение в программных документах тайных декабристских организаций и в литературно-критической деятельности декабристов.

Понимание государственной важности преобразования литературного языка на основе принципа общепонятности для всех слоев общества выразилось с предельной ясностью в «Русской правде» Пестеля, где мы читаем: «Законы должны быть ясны, понятны, справедливы и просты. Ясность необходима для того, чтобы каждый гражданин мог их понимать и потом свои поступки с ними без дальних затруднений сообразовать. Для того должен непременно каждый закон таким образом быть написан, чтобы он никаких толков не требовал, никаких недоразумений не допускал и ни под каким видом в двояком смысле не мог бы быть принят». В уставе «Союза благоденствия» указывалось на необходимость обращать «особенное внимание на обогащение и очищение языка»⁷².

Пушкину, как и декабристам, был свойствен политический подход к проблеме развития литературного языка. В 1822 году он пишет Вяземскому из кишиневской ссылки о необходимости образования «метафизического» языка в «тиши самовластья», прозрачно намекая, что он ждет времени, когда наступят политические перемены и «люди, которые умеют читать и писать... будут нужны России». В статье «О предисловии г-на Лемонте...» он ставит вопрос: «Какое действие имеет на

порабощенный народ сохранение его языка?» — и многозначительно замечает вместо ответа: «Рассмотрение сего вопроса завлекло бы нас слишком далеко». Более чем вероятно, что Пушкину был знаком текст лекции, которую Кюхельбекер прочел в Париже в 1821 году * и где о русском языке сказано: «Свободный, сильный, богатый, он возник раньше, чем установилось крепостное рабство и деспотизм, и впоследствии представлял собою постоянное противоядие пагубному действию угнетения и феодализма... Доныне слово *вольность* действует с особой силой на каждое подлинно русское сердце». С этим строем чувств связан известный афоризм Пушкина, который гласит, что только революционная голова может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык ⁷³.

Борьба за демократизацию литературного языка, за его самобытность проходит в качестве одной из главных тем литературных выступлений писателей-декабристов. В первом же своем обзоре, напечатанном в «Полярной звезде» на 1823 год, Бестужев писал: «Век галлицизмов настал в царствование Елизаветы, и теперь только начинает язык наш отрясать с себя пыль древности и гремушки чуждых ему наречий». Летописи, народные песни, сказки, лучшие произведения книжной словесности — вот на что указывал Бестужев как на источник развития русского литературного языка. Обзор заключался многозначительными словами: «Новое поколение людей начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его. Время невидимо сеет просвещение, и туман, лежащий теперь на поле русской словесности, хотя мешает побегу, но дает большую твердость колосьям и обещает богатую жатву». В других обзорах Бестужев вновь подчеркивал значение «мощного свежего языка как стихии поэта», отмечал в «Горе от ума» невиданную ранее «природу разговорного русского языка в стихах». Последовательно боролся за национально-самобытный русский литературный язык против салонных жаргонов и диалектов В. Кюхельбекер. С негодованием писал он о тех, кто «из слова... русского, богатого и мощного, силятся извлечь небольшой, благо-

* За эту лекцию Кюхельбекер был выслан русским посольством в Россию.

пристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для *немногих* язык, un petit jargon de coterie *. Без пощады изгоняют из него все речения и обороты славянские и обогащают его... германизмами, галлицизмами и барбаризмами⁷⁴.

Что же касается отношений декабристов к использованию в литературе элементов церковнославянского языка, то наиболее четко оно выражено в следующих словах Александра Бестужева: «Язык славянский служит теперь для нас арсеналом: берем оттуда меч и шлем, но уже под кольчугой не одеваем своих героев бычачьей кожей, а в охабни рядимся только в маскарад. Употребляем звучные слова, например *ветроград*, *ланиты*, *десница*, но оставляем червям старины *семо* и *овамо*, *говядо* и т. п.». Более сложными были в этом вопросе взгляды Кюхельбекера, который, обличая элегически-сентиментальный стиль поэзии Карамзина, не мог отличить свою позицию от позиции Шишкова, также критиковавшего Карамзина. К тому же стиль стихотворений Кюхельбекера, особенно раннего периода, был засорен церковнославянизмами. Однако характерно, что в «Обзрении российской словесности 1824 г.» Кюхельбекер отделяет свои принципы от шишковских. Главным же водоразделом между позициями Шишкова и Кюхельбекера было их отношение к простонародному языку. В этом вопросе к Кюхельбекеру присоединился и Пушкин. Отвечая на обвинения дворянских критиков в простонародности языка «Полтавы», в употреблении «низких», «бурлацких» слов, Пушкин писал: «Низкими словами я, как В<ильгельм> К<юхельбекер>, почитаю те, которые подлым образом выражают какие-нибудь понятия; например, *нализаться* вместо *напиться пьяным* и т. п.; но никогда не пожертвую искренностью и точностию выражения провинциальной чопорности и боязни казаться простонародным, славянофилом и тому под.»⁷⁵.

Пушкин был солидарен с декабристами по ряду основных вопросов развития языка. Однако никто из декабристов не смог подняться до такого понимания роли «простонародного языка» в развитии языка литературного, которое было свойственно Пушкину, утверждавшему, что литературный язык — это обработанная, наи-

* Маленький кружковый жаргон (*франц*)

более совершенная форма общенародного языка. В самом отношении декабристов к языку были элементы и увлечения архаизмами и пережитки сентиментализма (вспомним иронические слова Пушкина в письме к А. Бестужеву 1823 об отрывке из «Братьев разбойников»: «...если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц Полярной звезды, то напечатай его»). Более глубокая и последовательная трактовка Пушкиным понятия народности литературы отразилась и в его подходе к вопросам развития литературного языка.

Роль декабристов в спорах по основным проблемам развития русской национальной культуры была исключительно велика. Мировоззрение Пушкина складывалось под могучим воздействием декабристского движения. Но уже в первой половине 20-х годов Пушкин подошел ближе, чем кто-либо из его современников, к пониманию роли народа как носителя национальной специфики и выразителя духовных богатств русской нации, от развития которых зависели и судьбы литературы и судьбы литературного языка. Пушкинское понимание народности было самым высшим завоеванием русской культуры, самым важным итогом литературного движения эпохи декабризма.